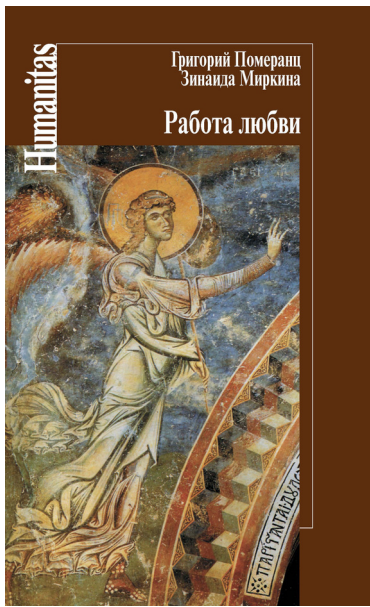




Григорий Соломонович Померанц
Зинаида Александровна Миркина
Светлана Яковлевна Левит
Работа любви
Серия «Humanitas»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17195667

*Работа любви. Лекции, прочитанные на рубеже веков: Центр гуманитарных инициатив; М.,
СПб.; 2015*

ISBN 978-5-98712-119-1

Аннотация

В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной за последние 10 лет, а также эссе на родственные темы. Цель авторов – в атмосфере общей открытости вести читателя и слушателя к становлению целостности личности, восстанавливать целостность мира, разбитого на осколки. Знанию-силе, направленному на решение частных проблем, противопоставляется знание-причастие Целому, фантомам ТВ – духовная реальность, доступная только метафизическому мужеству. Идея Р.М. Рильке о работе любви, без которой любовь гаснет, является сквозной для всей книги. Впервые опубликовано под названием «Невидимый противовес» в 2005 г. в издательстве «Пик».

Содержание

А все-таки оно есть. Методология счастья. О поэтессе Зинаиде Миркиной и философе Григории Померанце	5
Предисловие	14
Григорий Померанц	15
Работа любви	15
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Григорий Померанц, Зинаида Миркина

Работа любви. Лекции, прочитанные на рубеже веков

© Левит С.Я., составление серии, 2013

© Миркина З.А., 2013

© Центр гуманитарных инициатив, 2013

А все-таки оно есть. Методология счастья. О поэтессе Зинаиде Миркиной и философе Григории Померанце

В истекшее пятнадцатилетие писать о людях счастливых стало не только не принято, но едва ли не признаком дурного тона. Вспоминаю, как лет пять назад предложил одному солидному общественно-политическому журналу статью о Г. С. Померанце. Было это вскоре после дефолта. Редактор, пробежав глазами несколько строк, выразил явное недоумение: «Страна разваливается, а вы о Померанце!» Но страна, слава Богу, уцелела, а статья «Последний мудрец заката империи» вышла в не столь захваченной политическими страстями «Учительской газете». Анализировались в ней философские и культурологические воззрения мыслителя, сполна вкусившего от горечи века: фронт – лагерь – диссидентство и сумевшего выйти из этих испытаний с просветленной душой и ясным острым умом. Но с той поры меня не покидало чувство недосказанности об этом человеке чего-то важного, быть может, самого главного, и уж во всяком случае не менее ценного в его жизни, чем подвластные ему глубина мышления и поистине вселенская широта кругозора.

Имея честь из года в год близко наблюдать глубоко сокровенный личный, творческий союз Григория Соломоновича Померанца и Зинаиды Александровны Миркиной, я пришел к выводу, что оба они, пройдя через предельные испытания, научились быть счастливыми. «Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, – потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед» (*Померанц Г.С. Записки гадкого утенка. М., 2003, с. 213*). Однако уместно ли говорить о возможности научиться счастью? Разве не даруется оно свыше, являя собой талант особого рода? Моцартовское ощущение полноты бытия, переполняющее душу через край, изливающееся в гармонии звуков, – награда не от мира сего. З. А. Миркина и Г. С. Померанц – люди исключительной одаренности. Но дар их, да простится этот невольный каламбур, не был ниспослан им даром, а обретен в результате собственной долгой, растянувшейся на десятилетия, напряженной духовной работы. Тем важнее педагогу хотя бы приблизиться к пониманию «методологии» обретения счастья, чтобы затем вооружить ею своих воспитанников. Записав последнее предложение, с большой долей самоиронии представил себе, как в планах воспитательной работы школы появляется новый раздел: методические рекомендации по обретению счастья. На память немедленно приходит хрестоматийная фраза Козьмы Прутова: «Если хочешь быть счастливым – будь им!».

Но разговор на эту тему, волнующую любого человека и тем более подростка, немедленно вызывает напряженное отчуждение, как правило, прикрываемое иронией. Почему? Тому есть много причин: религиозных, философских, психологических. Все мировые религии подчеркивают хрупкость, ненадежность любых земных устроений: «Всё суета сует...». Философские построения и выросшие из них социальные утопии, ориентирующие человека на построение Царства Божьего на земле, к исходу двадцатого столетия окончательно дискредитировали себя. Но даже в разгар официально навязанного приступа счастья, когда едва ли не в каждом углу висела вырванная из контекста фраза Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета», внимательные люди обращали внимание на то, что в рассказе писателя-демократа эту сентенцию произносит безногий, опустившийся инвалид. В ответ официальному оптимизму тогда родилась саркастическая шутка (в силу российской специфической истории), дожившая до наших дней: «С таким счастьем – и на свободе». Пожалуй,

напрасно В. Каверин ради ложной красоты перефразировал для эпитафии «Двух капитанов» известное изречение. У Каверина: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Но если уже нашел, то с чего же сдаваться? Радуйся и торжествуй. В подлиннике, у Ромена Роллана: «Бороться, искать, не найти и не сдаваться». Согласимся, что в истинной, не искаженной редакции доблести все же больше.

Психологически можно понять людей счастливых, но предпочитающих умалчивать об этом редком состоянии души. Зачем говорить, когда и так все написано на лицах? Прилично ли ощущать радость бытия, когда вокруг всегда столько горя?

И, наконец, счастье счастьем – рознь. Как и несчастье – несчастьем...

Зинаида Александровна Миркина рассказывала, что по выходе из одного и того же лагеря у ее подруги поочередно побывали три его бывших узника. Первый, усевшись на табуретку, обхватив голову руками, произнес: «В лагере было ужасно!» Второй, более сдержанный в оценках, отметил, что в лагере было трудно. А третий, показавшийся ей тогда до крайности легкомысленным, заявил: «В Ерцеве было хорошо!». Это и был Григорий Соломонович Померанц. Перефразируя уже приведенную выше шутку, можно сказать: с таким счастьем и не на свободе! Сам бывший сиделец объяснял истоки своего состояния так: «Видимо, от рождения я был наделен чувством природы. А на Севере были удивительные белые ночи. Кто не видит природы, замечает лишь колючую проволоку». Особую достоверность и убедительность нашему разговору придавало то обстоятельство, что происходил он на палубе судна на обратном пути с Соловков, в самый разгар белых ночей. За двенадцать часов хода до Архангельска Зинаида Александровна проспала лишь час. Все остальное время она провела на палубе, вглядываясь в море и нескончаемый закат.

Даром созерцания природы они оба наделены безмерно. Хотя, что значит наделены? Кто-то ведь дал первый толчок, запустил, как выражаются психологи, дремлющий до поры механизм восприятия. Что касается Г. С. Померанца, то ответ на этот вопрос находим в его книге-исповеди «Записки гадкого утенка»: «Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него... Что он там видел?». Вот так: созерцать созерцающего и постепенно учиться самому. Чем не методика? Последним из российских педагогов двадцатого столетия, кто осознанно, серьезно и последовательно учил своих воспитанников получать радость и испытывать счастье от волшебной встречи с природой, был В. А. Сухомлинский. Затем наступила эпоха экологического воспитания, отрицать важность и необходимость которого было бы в современных обстоятельствах, по меньшей мере, не разумно. Но в том-то и дело, что на одном разуме не строится личность человека.

Подобно князю Мышкину, Зинаида Александровна и Григорий Соломонович искренне не понимают: как можно видеть, к примеру, сосну и не быть счастливым? Для обоих (и они этого не скрывают) – природа выше музыки, поэзии и философии. Будучи, безусловно, людьми культуры, тонко чувствующими все ее ходы в прошлом и настоящем, они менее всего тяготеют к фаустовскому образу кабинетного мыслителя. Их кабинеты – лес с непременным костром, берег реки, морской залив. Именно там рождаются стихи, историософские прозрения и религиозные интуиции.

Когда доходит до нуля
Весь шум и, может быть,
все время,
Я слышу, как плывет земля
И в почве прорастает семя.
И, обнимая небосвод
Крылами неподвижной

птицы,
Душа следит, как лес растет
И в недрах смерти жизнь
творится.
Я осязаю ни-че-го.
И всё. – Ни мало и ни много —
Очами сердца своего
Я молча созерцаю Бога.

Помимо прочих достоинств, эти стихи избавляют от необходимости подробно объяснять, чем созерцание отличается от простого и привычного любования природой уставшего от суеты горожанина.

Созерцанье —
не наслаждение.
Это – слушанье и служенье,
Зов архангельский, – звуки
рога
Сердце слушает голос Бога.
Тот, что тише полета мухи.
Это – богослуженье в Духе.
Гармоничней, чем шорох
лиственный.
Это – богослуженье в Истине...

Два ярких творческих человека, соединенных семейными узами, – это всегда серьезная проблема. История культуры знает немало примеров плохо скрываемого напряженного внутрисемейного соперничества, приводящего к срывам, трагедиям, весьма запутанным отношениям. Блок и Менделеева, Ходасевич и Берберова – список можно продолжить... Но в данном творческом союзе никто не стремится к верховенству, интеллектуальному, моральному и психологическому доминированию. Ни тени попытки продемонстрировать свое превосходство ни друг другу, ни окружающим их людям. Здесь у Григория Соломоновича был долгий процесс самовоспитания. Обратимся к одному лагерному эпизоду, который многое проясняет...

«Мой товарищ объяснил мне и Жене Федорову особенности своего ума; выходило, что он всех лучше, но выходило медленно, потому что Виктор был действительно умный человек и не хотел грубо сказать: «я всех умнее», а тактично подводил нас к пониманию этого. Я слушал и думал: „врешь, братец, умнее всех я“, – но вслух ничего не говорил. В этот миг Женя, дерзкий мальчишка, сказал: «а я думаю, что я всех умнее». Виктор опешил и замолчал. Мы подошли к уборной, вошли в нее. Через очко было видно, как в дерьме копошатся черви. Почему-то эти черви вызвали во мне философские ассоциации. (Может быть, вспомнил Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог?) Что за безумие, – подумал я, – как у Гоголя, в „Записках сумасшедшего“. Каждый интеллигент уверен, что он-то и есть Фердинанд седьмой. Было очень неприятно думать это и еще неприятнее додумать до конца: мысль, что я всех умнее, – злокачественный нарост; надо выздороветь, надо расстаться с этим бредом, приросшим ко мне. И с решимостью, к которой привык на войне, я рубанул: „Предоставляю вам разделить первое место, а себе беру второе“. Я испытал боль, как при хирургической операции или при разрыве с женщиной, с которой прожил 20 лет (я жил с этой мыслью с 13 до 33). Но я отрубил раз и навсегда. С этого мига начался мой плюрализм. Я понял, что каж-

дому из нас даны только осколки истины и бессмысленно спорить, чей осколок больше. Прав тот, кто понимает свое ничтожество и безграничное превосходство целостной истины над нашими детскими играми в истину». («Записки гадкого утенка», с. 20). Излагая устно этот эпизод, Григорий Соломонович обычно скороговоркой добавляет: «С этого начался путь к счастью». И когда я спросил: почему? Он ответил: потому что чувство превосходства, уверенность в своей правоте разрушает и любовь, и дружбу. Но если пробуждение от себя любимого произошло у него вследствие интеллектуального бесстрашия, привычки додумывать любую мысль до конца, какой бы неприятной она ни оказалась в итоге, то у Зинаиды Александровны оно связано с глубоким целомудренным религиозным чувством:

О, Господи, при чем тут я,
Когда вся глубина Твоя,
Вся бездна бездн растворена
И силы творческой полна?
При чем тут я? При чем?
Зачем,
Когда так целокупно нем
Простор бессолнечного дня
И он берет в себя меня?
При чем тут я, когда есть лес
И в нем последний крик
исчез
Лишь дятел бьется,
сук долбя...
О, пробуждение от себя!
Наплыв великой высоты...
При чем тут я, когда есть Ты?

На Соловках Григорий Соломонович поведал о своем давнем сне в те годы, когда переводились сказки острова Бали: «Я умер и предстал перед Шивой. Бог Шива восседал во всем своем блеске. Вдоль стен большой комнаты на длинных скамьях, как в сельском клубе, располагались праведники, взиравшие на Шиву. И я подумал: какое счастье видеть стольких достойных людей, неизмеримо лучших, чем я. Однако сразу же пришла другая мысль: но ведь есть достаточно тех, кто гораздо хуже меня. И сразу разверзлась пропасть... И я проснулся».

Шива пришел из сказок, но сновидение его приняло, не смутилось странным обликом Бога. Ведь Григорий Соломонович по своим религиозным воззрениям – суперэкуменист, т. е. человек, который видит и чувствует глубинную, сокровенную общность главных установлений всех мировых религий. Он, по его же слову, привык жить в пол-оборота на Восток. (Диссертацию по буддизму дзэн в свое время диссиденту так и не дали защитить.) Прекрасно чувствуя себя в межконфессиональном пространстве, не боясь оторваться от перил богословия, он искренне убежден, что Бог выше и глубже наших слов и разногласий, а на самой большой глубине мировые религии сплетаются корнями. При этом ни малейшего стремления соединить голову овцы с туловищем быка, совместить несовместимое. А таких дилетантских попыток, связанных с поверхностной, наносной религиозностью, истекший век знал немало. Каждая великая религия – неотъемлемая часть великой культуры, но созерцание, медитация и молитва – это укорененные в разных культурах общие пути постижения вечности. Отсюда – равно уважительное, серьезное отношение и к евангельской притче и к буддистскому коану. У Зинаиды Александровны душа – христианка, что не мешает ей тонко

чувствовать и переводить поэтов исламского суфизма, Рабиндраната Тагора и Рильке. Оба Дух ставят выше буквы.

И я уже не знаю ничего.
Я – чистый лист, я – белая
 страница.
И только от Дыханья Твоего
Здесь может буква зыбкая
 явиться.
Да, Ты ее напишешь
 и сотрешь,
И это – высший строй,
 а не разруха,
Ведь есть всего одна
 на свете ложь:
Упорство буквы перед
 властью духа.

Непредвзятость и открытость разным религиозным и культурным традициям предопределили успех их совместной книги «Великие религии мира», выдержавшей два издания и ныне принятой в качестве учебника в ряде высших учебных заведений.

О таких людях обычно говорят: живут напряженной духовной жизнью. Но в том-то и дело, что чрезмерное напряжение, чреватое экзальтацией и срывами, им совершенно не свойственно. Высокий строй души и глубина мысли дарят спокойствие, сосредоточенность, умение, выражаясь словами Г. С. Померанца, подныривать под абсурд или жить, поднимаясь хотя бы «на два вершка над землей». Спокойствие это не назовешь надменным, холодным, олимпийским. Оно мудрое, терпимое, лишенное ригоризма мучеников всяческих догм. Потому-то десятилетиями к ним тянутся люди разных чинов и званий: молодые и зрелые, уже оставившие свой след в культуре и только постигающие ее глубины.

Среди прочих бывал в доме поэт Борис Чичибабин. В своих «Мыслях о главном» он писал: «Да будут первыми словами этих моих раздумий на бумаге, которые сам не знаю куда меня заведут, слова благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми – Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо!

<...> Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными вождями. (Разрядка моя. – *Е. Ямбург*) Если он останется в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью.

Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы выходящий по спирали двухголосный монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, для удобства восприятия и ради большей полноты разделившегося на два телесных – женский и мужской – образа» (*Чичибабин Б. И* все-таки я был поэтом... Харьков, 1998, с. 7). Замечательно, что Г. Померанца и З. Миркину своими духовными вожаками называет не юноша, обдумываю-

щий житье, а зрелый, значительный поэт, много претерпевший в жизни: фронт – лагерь – отлучение от профессиональной литературы (до середины восьмидесятых работал бухгалтером в трамвайном парке г. Харькова). Как знать, может быть, под воздействием этих бесед появились его чеканные строки:

Еще могут сто раз на позор и
на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик
в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок – ничего
не подделаешь – Вечность,
и все дальше ведет – ничего
не подделаешь – Дух.

Близкое общение с этой семьей судьба подарила поэту в 70-е годы, мне – в 90-е. Но смею уверить, что за два десятилетия мало что переменилось. Двухголосный монолог одного целостного существа, слава Богу, продолжается и по сей день.

Я, ты и небо перед нами —
Над нами небо, и вокруг
Рассвета тлеющее пламя
И сердца еле слышный стук.
Чьего? Но нас уже не двое.
Мы в этот час одно с тобою
И с небом. И когда бы, где бы
В нас не иссяк всех сил
запас, —
Нам только бы застыть под небом,
Входящим тихо внутрь нас.

Как-то вскользь Григорий Соломонович заметил: «Пожилая женщина пишет как семнадцатилетняя девушка. Зиночка влюблена, влюблена в Бога!». Сказано было спокойно, без ревности. В самом деле, как можно ревновать к Высочайшему? Действительно, в редких стихах З. Миркиной местоимение «ты» не с заглавной буквы. Однако меньше всего хотелось бы представить обоим существам бесплотными, живущими в мире платоновских идей. Это совсем не так. Любовь к Богу ни в коем случае не отрывает Зинаиду Александровну от любви к мужу, а только бесконечно углубляет эту любовь. И возраст тут ни при чем. За 43 года их совместной жизни чувство это никак не изменилось.

Мы два глубоких старика.
В моей руке – твоя рука.
Твои глаза в глазах моих,
И так невозмутимо тих,
Так нескончаемо глубок
Безостановочный поток
Той нежности, что больше
нас,
Но льется в мир из наших
глаз,

Той нежности, что так полна,
Что все пройдет, но не она.

Не боясь упреков в отжившем свой век сентиментализме, со всей ответственностью свидетельствую: их личные отношения – не благодатная идиллия старосветских помещиков, а глубокая взаимная страсть, облагороженная взаимной волей сделать счастливыми друг друга. Ее неослабевающий с годами накал – источник неиссякаемого вдохновения. Редко кому удастся не утратить со временем «буйство глаз и половодье чувств». Есенинские строки всплыли в памяти не случайно. Поэт сожалеет об утраченной свежести, истощенности чувств; растраченность и опустошение – состояние, которое неизбежно наступает вслед за буйством и половодьем. Как же может быть иначе? На то она и страсть, дабы быть альтернативой сдержанности, выверенной осторожности. Сдержанная страсть – что-то вроде несоленой соли. Оказывается – может!

«Легче было лежать живой мишенью на окраине Павловки, чем сказать Ире Муравьевой (И. Муравьева – покойная жена Г. Померанца, сгоревшая от туберкулеза всего через три года после их брака. – *Прим. Е. Ямбурга*), что я прошу ее не прикасаться ко мне тем легким, едва ощутимым прикосновением, одними кончиками пальцев, на которое я не мог не ответить, а ответить иногда было трудно, и потом весь день разламывало голову. Ира приняла это по-матерински. И очень скоро пришло то, о чем я писал в эссе “Счастье”: достаточно было взять за руку, чтобы быть счастливым. *Сдержанность вернула чувству напряженность, которой, кажется, даже в первые дни не было.* (Здесь и далее разрядка моя. – *Е. Ямбург*) Я стал уступать порыву только тогда, когда невозможно было не уступить, – и относился к нему, как к дыханию, которое должно пройти сквозь флейту и стать музыкой. *Сразу осталось позади главное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий).* А как долго я медлил, как не решался сказать! Как боялся выглядеть жалким, смешным, ничтожным, слабым!

Если бы все люди вдруг увидели себя такими, какие они есть, и прямо об этом сказали – какой открылся бы простор для Бога, действующего в мире!» («Записки гадкого утенка», с. 77).

Во времена всеобщего раскрепощения, в том числе и в чувственной, эротической сфере, нам больше всего не хватает не фальшивого казенного пуризма предшествующей эпохи, с его внешними запретами и ограничениями, а тонкого инструмента, той самой флейты, рождающей музыку любви. Точнее – воли настраивать самого себя как инструмент счастья. И тогда – возраст не в счет. В дивной музыке захватывает все, включая последующие... Но самое главное: в симфонии любви исчезает отчаяние, отступает страх перед неотвратимым, которые поэт прекрасно знает в людях и описывает в своей поэме «Stabat Mater»:

Как страшно вылезать
из сна!
Вдруг вспомнить: каждый
в одиночку.
Смерть лишь на миг дала
отсрочку,
Но – вот она. Опять она.

Так, значит, можно
разрубить
Сплетенье рук, срастанье,

завязь?!

Не может быть, не может быть!
Мы... милый мой, мы обознались!
Ведь это – мы! Какой судьбе
Под силу душу выместь, вылить?!
Мне больше места нет в тебе?
А где же быть мне? Или?.. Или?..

Крик оборвался. Стон затих.
Смерть глушит крик и всплески тушит.

.....
Как может вдруг не стать живых?
Как может смерть пробраться в души?!

Так и живут вместе долгие десятилетия эти люди: философ и поэт, мужчина и женщина, живут неслиянно и нераздельно, являя собой зримый, осязаемый пример достойного Бога земного человеческого существования.

Читающий эти заметки вправе задать вопрос: а что, собственно говоря, здесь нового? Разве все великие книги человечества не учат смирению гордыни и сдержанности в проявлении страстей, не призывают к созерцанию и молитве как способам постижения Высочайшего, не настраивают на добросердечие? Нового здесь действительно нет ни-че-го! Но в том-то и существо незамутненного временем педагогического взгляда на вещи, что воспитание чувств не по части модернизации образования и не по ведомству, отвечающему за формирование ключевых компетенций. Здесь более уместно говорить об архаизации в смысле возвращения к вечным, нетленным человеческим ценностям. Это достаточно очевидно для любого вдумчивого педагога. Проблема в другом. *Многие из тех, кто сегодня отстаивает начала духовности и культуры перед натиском прагматизма, держатся не столько за суть, сколько за обветшалые формы, вызывающие естественное отторжение у нынешних молодых людей.* Буква в который раз превозносится выше Духа. Тем бесценнее опыт людей, умеющих *собирать себя* (выражение Г. Померанца) даже перед лицом великих испытаний. Есть разные пути самостроительства личности. Разумеется, у каждого человека этот путь в определенном смысле уникален и неповторим: для кого-то толчком для движения в нужном направлении служит вовремя прочитанная книга, другому помогает волшебная встреча, третий прозревает при обрушившемся на него несчастье. Но при любых обстоятельствах услышать может лишь имеющий уши. А это означает, что для постижения вечных ценностей на каждом временном отрезке от *каждого* требуются невероятные личные усилия и личное духовное творчество. *Причем важными оказываются не только сами истины, но и созерцание процесса их бесконечного переоткрытия, личностного сокровенного обретения.* «Ни одна заповедь не действительна во всех без исключения случаях; заповедь сталкивается с заповедью – и неизвестно, какой следовать, и никакие правила не действительны без постоянной проверки сердцем, без способности решать, когда какое правило старше. И даже сердце не дает надежного совета в запутанном случае, когда двое и больше людей чувствуют по-разному, и тогда решает любовь. <...> Иногда я решал интересные вопросы; но самое главное, что меня толкает к бумаге, – круженье вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). («Записки гадкого утенка», с. 193–195).

Мне кажется, что об этом же, но по-своему, прекрасными своими стихами сказала Зинаида Миркина.

Качнулся лист сырого клена,
И тихо вяз зашелестел.
Душа живет иным законом,
Обратным всем законам тел.
В ней нет земного тяготенья
И страха перед полной тьмой,
Ей все потери – возвращенья
Издалека к себе самой.
О, эти тихие возвраты...
Листы летят, в глазах рябя.
И все обрывы, все утраты
Есть обретение себя.

В эпоху безвременья, хаоса, смуты в головах и сердцах, когда мысли вразброд, а чувства растрепаны, стоит присмотреться к людям искушенным, отмеченным редким даром сотворчества с Вечностью.

Зинаида Миркина и Григорий Померанц, безусловно, из этой когорты.

Евгений Ямбург

Предисловие

Эта книга – итог своеобразного начинания. В Ко (Коммуна Монтрё, Швейцария), на конференциях Общества морального перевооружения (впоследствии переименованного в «Инициативу перемен»), мне понравился «час общин», с 11 до 12 утра. Общины создавались каждые несколько дней заново, по мере приезда участников того или иного цикла занятий. Сходились по языку, на котором могли общаться без переводчика, и по привязанности к руководителю, по опыту прошлых лет. Я ходил к Хайнцу Кригу, старому учителю из Западного Берлина, инвалиду проигранной войны, для нас – Отечественной. К счастью, наша встреча в районе Сталинграда не состоялась. Увидев друг друга через полвека, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Он стал одним из самых чутких слушателей моих докладов, а я – одним из самых активных участников его «общины».

Хайнц захватывал своей искренностью. Он рассказывал какой-то трудный случай из своей жизни (иногда прося не выносить сора из избы – «ведь мы одна семья»), а потом мы обсуждали аналогичные проблемы. За большим столом сидели рядом рабочий-электрик и профессор, но каждый находил что сказать, и всем интересно было слушать. У нас в Москве это бы так легко не получилось. Не было традиции, созданной основателем общества, Фрэнком Букманом (так по-английски произносится его немецкая фамилия Бухман, 1878–1961. Есть книга о нем на русском языке – «Поспеть за Богом», не говоря о книгах на европейских языках). Надо было создавать традицию, и я решил расширить вводное слово, превратить его в маленькую лекцию, способную задеть за живое.

Так родилась моя первая лекция «Возможна ли чистая совесть?». Но как только я кончил, вошла уборщица с ведром и метлой и велела убираться. Ее рабочий день кончился, и она не согласна оставаться сверхурочно. Обсуждение произошло в раздевалке. Обрывки разговоров никто, конечно, не записывал. К сожалению, и в дальнейшем, когда метла нам не угрожала, запись прений оставалась ахиллесовой пятой наших занятий. Обсуждение иногда затягивалось часа на полтора, не уступая лекции по глубине, но сохранилось (если сохранилось) только в частных аудио- и видеозаписях, очень несовершенных.

Темы занятий, как читатель увидит, полистав содержание, все расширялись. Некоторые занятия напоминали зародыш Религиозно-философского общества. Постепенно в его работу втянулась и Зинаида Миркина, сперва только помогавшая мне отвечать на вопросы. В конце концов Зинаида Александровна стала выступать и с содокладами. В книге эта переключка оборвалась на полуслове. По моей шутке, в которой есть доля правды, я разговаривал с историей, поглядывая с надеждой на Бога, а Зина разговаривала с Богом, поглядывая с ужасом на историю.

Кое-что из выступлений наших слушателей уцелело в аудио- и видеозаписях и может быть собрано, но у нас на это не хватает сил. Что есть, то есть. В книгу не вошли лекции «Созерцатели нашего века» («Уязвимость Антония Блума», «Вера и неверие Мартина Бубера», «Созерцание Томаса Мертона»), которые напечатаны в серии «Антология выставления и преображения» в 2003 году во 2-м томе «Неуслышанных голосов» (с. 344–375).

Быть может, книга даст толчок для нескольких дискуссий – более широких, чем наш маленький московский семинар. Мы с Зинаидой Александровной готовы принять в них участие.

Григорий Померанц I. Лекции конца века

Работа любви

Возможна ли чистая совесть?

Когда мы говорим: «моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего ты не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил, меня при этом не было.

Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату... И то – если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя остаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве – и погибла вместе с другими евреями в 1941 г. (в ссылке – могли бы уцелеть).

Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден: если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не все насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать...

Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек, после 70 лет советской власти, будет действовать по правилам, установленным в Америке?

Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богораз признавала это своей виной.

Чиста ли совесть у солдата, выполнявшего приказ? В 1944 году я совершенно вжился в свою военную форму, приказ был для меня закон. Приказ разрешал рукоприкладство, и во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением. Солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдил меня; до сих пор помню свой стыд. А потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело – высокая политика, и я привык. Не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не блеял, как овца. Связал страх остаться одному против всех (все ложь Главнокомандующего проглотили). Пока я был один – мыслил, а укоренившись в стае, в почве, в народе, – лаю по-собачьи, блею по-овечьи.

Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставивших след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу желание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной,

сознание капли, тождественной океану, – и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.

Пушкин писал: не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. А что, если мысль о продаже вмешивается в само вдохновение? И повернет перо так, чтобы выгоднее продать? Я пишуший человек, я это знаю.

Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды; думать о достойном ответе на Страшном суде – одно, а рассчитывать на награду – совершенно другое. Отец Сергей подгнил от любования своей святостью, и Силуану было сказано: «держи ум свой во аде и не отчаивайся!».

Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «все спасутся, один я буду гореть в аду», и понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и частный интерес.

Второй раскол – внутри разума, сознающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие – коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями. Приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок – три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришили еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства. Письма в лагерь проходят сквозь цензуру, и гэбэшники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал. Осуждали Дудко, Красина, Якира: трусили. А здесь долг столкнулся с долгом.

Безусловная верность одному долгу оборачивается топтанием других долгов. Есть история 48 ронинов (т. е. безработных самураев-вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакином, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймё (лорд) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительство) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную стражу. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыплена, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести. Потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронином сделать себе харакири, и 48 ронинов разрезали себе животы.

Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шолохова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славились своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества – поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия – канонизированная царица Ирина, по повелению которой были перебиты сто тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной вселенской церковью – и католической, и православной).

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость, – тоже от дьявола. Обе крайности – от него. И безусловная верность одной идее, одному долгу – и отказ от всяких

идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.

Долг – это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить *разные* принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жесткость, ставших текучими. В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьянина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова – но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты – всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах, и передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредить»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190-1). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно. Другие – что всякие обещания им – слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в одних глазах и слабаком в других. Подобного рода колебания были и в поведении ассистента Сахарова, Бориса Альтшулера, человека по натуре очень прямого, но не готового принести в жертву жену и детей. Он об этом рассказывает в своей статье, помещенной в сахаровский сборник.

Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против – ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог бы стрелкнуть и по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при явном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите¹ надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от стрельбы по толпе и т. п. – но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что *всякое практическое решение не безупречно*, всякое действие монет вызывать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие, сплошь и рядом, еще большее зло.

Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого – недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение – знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их, как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.

¹ Резня армян в Сумгаите длилась три дня при полном невмешательстве Москвы. Это дало зеленый свет всем сепаратистам. Без Сумгаита не было бы дерзости Басаева.

Без этой чуткости к своей вине доброе дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения – и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стада угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.

Зло – порождение жизни. Жизнь всегда – отдельная, и утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья – загораживая солнце. Еще больше – животные и птицы. И больше других – человек. Но человек – не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца – не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: «И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест».

Власть слов, идей возникает во имя духа – и загораживает дух, как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромодившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнущим словом. Время от времени больно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи...» И все же наш долг – произвести слово. Долг, противостоящий другому долгу – молчания.

Солженицыну казалось, что все зло – от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать – чувство, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает давать противопоказания. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и все время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, – кто знает все последствие своих действий? И, наконец, мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: Возлюбите Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть – уловка дьявола...

Но поэт опытно знает состояние чистой совести:

Чистая совесть – дыханье простора,
Чистое веянье духа, в котором
Бог развернулся сплошной дорогой.
Чистая совесть – согласие с Богом.
Чистая совесть – согласие с мирами,
К нам доносящими дальнее пламя,
С каждой звездой и душою зеркальной,
Той, что звездой была изначально.

Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло *мое*, исчезло это, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты «я» и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.

О Господи, меня ведь нет.
Расплылись все черты.
Все было суетой сует,
Остался только Ты.
Остались на исходе дня

Вод тихих зеркала.
О Господи, прости меня
За то, что я была.
За то, что тратила запас
Вселенской тишины.
Прости меня за каждый час,
Что мы разделены.

*(Оба стихотворения Зинаиды Миркиной)
Москва, 16 марта. Коктебель, май 1997*

Приобретения и потери

Всякое приобретение – потеря; или, по меньшей мере, – забота, как избежать потери и постоянная угроза потери, а всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после всех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.

Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф – о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранилась до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.

Второй, утешительный миф – прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частных, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта. Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, – не зависевшего один от другого, в Элладе, Индии, Китае, – кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры философов кончились сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, главной книге, Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир Средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарит Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.

Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник Альфред Шнитке чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделялось от жизни и стало недоступным.

Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не зна-

чит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее – «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысленна, чем жизнь ребенка. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.

Путь человека повторяет путь человечества: все больше информации, все меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадами. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отымает радость игры – и дает вышколенность. Говорят, что воробей – это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам малышом неплохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скукой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скуки, едва книга отложена в сторону.

Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т. п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «я на кровати». Утром Менаше все собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.

Ученье – вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в доброе старое время. Тогда все было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненаших. «Моя страна, права она или нет», – говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фортинбрас не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу – и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к *обдуманной решительности*. Но обдуманная решительность – скорее цель, чем положительное приобретение. Все время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкли, и не знаю, привыкнут ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.

Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами – разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих адептов великой веры, великого рвения – и великого сомнения (во всех словах о предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложились новая жесткая буква и новое законничество.

Это было необходимостью для *народной* религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения – тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет – как оно идет сейчас – в сторону массы видеотов, мыслящих роликами и клипами.

Весной 1935 года нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата), и кончил словами: «я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытывал серьезное влияние «эгоизма» Стендаля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.

Я искал себя в Гамлете, в стендалевском Люсьене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов, с его «памятью смертной»). И в музыке – та же память смертная: миледи смерть, мы просим вас за дверь обождать... О, верно смерть одна, как берег моря суety... При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной даже в самых ярких эротических образах, надолго застревавших в уме.

Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею скорее становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе» пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или стать женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до 11 лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пыталась почти ничего не есть, чтобы сохранять мальчишескую худобу, но ничего не помогало. Потом воображение ее стало двойственным, переноса то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к 15 женственное вполне победило.

Бисексуальность – не патология, скорее *норма становления* – в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа – травести, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать Другого как себя ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина женщину и Другой становится частью самого тебя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин – отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины; а у мужчин – отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимой. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на всю жизнь от этой травмы (у П. И. Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадка Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперева настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.

Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти. Если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины – и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическим дальтоникам?

Кришнамурти² различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости – это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где профанация стерта: «С той поры, сгорев душою, Он на женщин не смотрел...». Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захва-

² Индийский религиозный мыслитель (1895–1985).

тившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины, а женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу – причастием.

Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: брахмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейная жизнь) и варнапрастха; вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как внутренний уход, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».

Все это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет, то лучше избрать путь одиночества.

На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас – сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман или сознательный обман. Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлия Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следуя за триумфальной колесницей, распевали частушки: вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны... Вот едет жена всех своих друзей и муж всех римских матрон... Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от всех предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться: глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мыслителями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.

Я понимаю тех, кто испугались своеволия и бросились назад, к строгим предписаниям религии, даже явно нелепым, как запрет регулировать рождаемость. Этот пример стоит разъяснить. Запрет имел смысл, когда жена обязана была родить своему индийскому мужу по меньшей мере шестерых детей. Опыт говорил, что из шести четверо умрут, из двух оставшихся один ребенок может быть девочкой а остается один сын, чтобы совершить поминальные жертвы. Такой же смысл имеет осуждение Онана, изливавшего свое семя на землю. Он обманывал Бога, велевшего родственнику умершего мужа возлежать с вдовой, чтобы продлить род покойного (обычай, описанный в книге «Руфь»), Христианство оставило в забвении книгу «Руфь», но включило в свои запреты осуждение Онана – хотя это две части одного целого, одной заботы о потомстве, бесчисленном, как песок морской. При нынешнем взрывном росте населения древний запрет явно вреден, но его боятся тронуть, чтобы не повалилось все здание заповедей и запретов.

Видимо, надо мысленно отделить основное здание от пристроек, прилепившихся к храму. Но где четкий рубеж между тем, что можно и что нельзя «деконструировать»? Это задача философии, которая придет на развалинах, оставленных «деконструктивизмом». Пока такого ясного рубежа нет. Освободившись от предписанных ролей, мы потеряли чувство собственной правоты.

Права молния любви, соединяющая человека с истиной или двух людей – в общем чувстве. Но молния не длится годами. Нужна *работа любви*, как выразился Рильке, превращение пути, по которому прошла молния, в надежный провод. Ненадежные провода легко рвутся. И тогда «одиночество хлещет реками» (стихотворение Рильке «Одиночество»

несколько раз хорошо переведено на русский язык. Видимо, чувство разрыва близости очень многими пережито; несравненно чаще, чем любовь к Беатриче).

Дети торопятся стать взрослыми, не представляя себе, какое это хлопотливое дело. Они мечтают жить по своей воле, без предписаний папы и мамы. Они не понимают, что предписывать себе самому – постоянный духовный труд, постоянная забота.

Сколько мучений доставляет начало половой зрелости! Сколько в нем оскорбительного, физиологически грязного, как прискорбно лишение свободы детского воображения, порабощенность эротическими образами! Как немыслимо соединить эти грубые образы с присутствием живой женщины, с общением мальчиков и девочек в школе! Счастливы те, кого захватила сердечная влюбленность и соединила душу с телом и очеловечила бурю гормонов; но если влюбленность задерживается? Как пережить эту борьбу ума с чреслами, в обход сердца?

А иногда, особенно у девочек, созревшее сердечное чувство противится «взрослой» любви, хочет на всю жизнь остаться с нежными поцелуями, как выросший ребенок – со своими игрушками. Этот страх очень обоснован. Только немногие пары не сталкиваются с искушением близости, когда плоть причастия заслоняет его суть. Большинство теряет больше, чем приобрели. Некоторые теряют человеческий облик, открывают в себе (или в своем партнере) «зевоту тигра» (что-то подобное писала Цветаева Бахраху). Оставляю открытым вопрос, кто дальше от Бога: пара, живущая в содомском грехе и в любви, или супруги, создавшие себе и своим близким семейный ад. Мне кажется, что иерархия тяжести грехов, установленная преданием, может быть пересмотрена – не отказываясь от понятия иерархии и греха.

Потеря детства – одна из самых тяжелых жизненных потерь. Я перенес ее сперва как пролог к драме, а потом уже как саму драму. Пролог был довольно смешным. Вернувшись к началу учебного года в Москву, мы начали какие-то забавы с Люсей, соседкой по квартире. Вдруг я заметил, что у Люси за лето образовались припухлости вокруг сосков. Я очень огорчился. Люся в свои 11 лет начала выходить из детства, становиться тетей. Она этого еще не заметила, но я понимал, что у тетенок и дяденок свои игры, в которых я, в свои 10 лет, ничего не смыслил и для которых был не нужен. Я потерял подружку своих игр. Это не было трагедией, но мир стал холоднее. Дети – единый народ, а дяди и тети – два разных народа с какими-то очень сложными и болезненными отношениями (папа и мама непрерывно ссорились). Жизнь наметнула мне, что в этих сложных отношениях придется разбираться. А я был не готов.

Настоящей драмой был отъезд мамы в Киев. Я не просил маму остаться. Я был сознательным мальчиком и понимал, что ее призвание актрисы требовало уехать вместе со студией «Фрайкунст», влитой в Киевский государственный еврейский театр. Но до этого я жил в каком-то симбиозе с мамой, словно мне было не двенадцать, а семь или даже пять лет. И вдруг этот симбиоз оборвался. Вдруг оказалось, что я очень одинок. С одним бедствием совпало другое: мои сверстники как раз тогда (с 5-го класса) сдвинулись в сторону повышенной шумной развязности, а я не находил себе места и обособлялся, уходил в себя. Одиноким в школе, одиноким дома (отец все вечера пересчитывал свои бухгалтерские ведомости). Это было очень трудно. Но, кажется, именно в одинокое отрочество я начал принимать решения, самостоятельно выбирать свою жизненную роль.

Вторым кризисом была потеря метафизической почвы под ногами, сознание себя песчинкой в бесконечности и невозможность с этим согласиться. Впервые это ударило в шестнадцать лет. Потом, по второму кругу, в двадцать. Чувство бесконечности пространства и времени рядом, прямо за стеной комнаты, где я сидел, с этих пор постоянно беспокоило меня и толкало мыслить.

Много позже я дружил с Петром Григорьевичем Григоренко, и как-то я подумал; он мыслит, чтобы действовать, а я действую, ставлю над собой эксперимент, чтобы лучше понять. И поняв что-то, чувствую себя удовлетворенным. А потом еще больше удовлетворенным, когда удавалось перенести свое понимание в текст.

Понимание своего амплуа можно считать ограниченностью. Но всякое дарование неизбежно ограничивает, дает силам одно определенное направление, без этого человек останется бесплодной смоковницей. Так же как артист должен сознать свое амплуа, набор ролей, которые может хорошо сыграть, и не пытаться играть не свое. Амплуа бывает узким, бывает очень широким, но парадокс в том, что Смоктуновский, играя Моцарта или Скупого рыцаря, больше раскрывается, больше верен себе, чем в частной жизни, когда он обедает или торгуется за гонорар. Быть самим собой – это роль, набор ролей, это своя дверь к целостности бытия. Потеря метафизической почвы под ногами была дверью в философию.

Третьей большой потерей было изгнание из гражданского общества. Такой смысл имела в 1946 г. формулировка: «исключен за антипартийные заявления». Я потерял себя как советский человек и нашел себя как человек антисоветский. Эта потеря и это приобретение сделали для меня легкой четвертую потерю: тюремное заключение, лагерное заключение, утрату внешней свободы, приобретение свободы внутренней.

С внутренней свободой я легко перенес пятую потерю – потерю надежд на возвращение к профессии ученого-филолога, избранной в юности. Я принял свое положение люмпен-пролетария умственного труда и нашел в нем новые возможности для расширения *своей* области мысли и формулирования своего, неакадемического стиля мышления (один из друзей назвал его метахудожественным). Наконец, как-то незаметно, среди всех своих потерь, я потерял что-то, мешавшее мне любить, и очень поздно, в 35 лет, открыл в себе юность чувства – странно, не вовремя, но очень глубоко. Совпадение поздней юности с неюношеским опытом мысли помогло мне избежать ошибок, которые губят раннюю любовь, и делать то, что Рильке называл работой любви; тема, которая слишком велика, чтобы сказать о ней мимоходом.

И наконец, когда я преодолел эти пороги, когда счастье стало полным и совершенным – наше единое тело разрубила смерть. Я два месяца чувствовал себя разрубленным вдоль позвоночника и левую сторону – похороненной вместе с Ирой. Небо в моих глазах падало на землю. Я тысячу раз готов был поменяться с Ирой, чтобы она жила, хотя бы без меня. Я не согласился бы на ее смерть ради самой великой цели во вселенной. Но когда я вынес свою потерю, мне открылась вера Иова, и я почувствовал силу смотреть Богу в глаза и видеть его сквозь ужас песчинки, летящей в пропасть.

Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас не нашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стала сама скорбь.

Углубление жизни

Есть что-то общее, соединяющее музыку, молитву, прислушивание к лесу, волну любви, вдохновение поэта. Это общее – углубление жизни. Иногда глубина раскрывается внезапно и полностью, в один миг. Так Рамакришна увидел стаю диких гусей, выхваченную лучом света на фоне черной тучи, и сразу на всю жизнь понял что-то главное, только не знал, как назвать. Но он жил в Индии, и традиция подсказала ему слова. Серафим Саровский жил в России и осознал свой опыт в других словах. А иногда никакие термины не приходят в голову. Кришнамурти говорит о безымянном переживании...

У меня был свой опыт, который я долго не мог понять, опыт внутреннего света. Просто света, вспыхнувшего в груди и погасившего все предметы, ослепившего меня на несколько

часов для дробного мира. Потом я читал разные книги и сравнивал это состояние с тем, что прочел у мистиков разных традиций и у писателей (Достоевского, Набокова). Мне кажется, что я увидел реальность целостного и вечного, как его ни называй. И в понимании разных учений я опираюсь прямо на свой опыт, пусть очень скромный и не идущий ни в какое сравнение с великим опытом пророков, святых и поэтов, потрясенных красотой. У меня в руках был пятак – но он дал мне понять, что такое монета.

Очень легко переоценить свою монетку и считать ее Монетой Монет. Мелкие монеты экстаза рассыпаны довольно часто – то есть сравнительно часто, сравнительно с великими событиями в духовной истории. Мышкин, Ставрогин и Кириллов – проекции одного человека Достоевского. К чему толкнет экстаз, зависит от нравственного склада личности. Я просто называю пятак пятачком. А другие монеты оцениваю на глазок. Я думаю, что единой шкалы оценок нет, и мне не хочется оскорблять никакую веру.

Так же по-разному можно понимать опыт тьмы, опыт бездны. Ибо чаще всего глубина раскрывается как бездна, в которую рухнуло все доброе, а целое еще не засветилось. И мужество вглядывается и вглядывается, пока не доглядит до зарниц света; а трусость прячется от страшного, как страус, засовывая голову в песок. Толстой не мог забыть чувства бездны. Тютчев постоянно к нему возвращался, и духовный взлет моей юности прошел под знаком его опыта ночи:

Пришла, и с мира рокового
Ткань благодатного покрова
Сорвав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...

Бездна смерти, бездна пространства и времени, бездна абсурда леденит и воспламеняет сердце. Арджуна не выдерживает и одного мига целостного созерцания. Гаутаму этот миг заморозил и не отпускал от себя, пока царевич не стал Буддой. Первая благодарная истина, которую Будда возвестил, была истина о страдании: все сущее болезненно и несовершенно... «Мир во зле лежит», в переводе на язык христиан. Но то и другое – только *первая* истина, первый шаг от пестрой очевидности к целостной глубине. В мужественном созерцании ужас бездны вдруг исчезает, уступает место свету, смыслу, голосу Бога, голосу, к которому взывает Иов и которого требует теология после Освенцима.

Мы живем в век, когда все вечные вопросы поставлены заново и каждый ищет ответа по-своему. У Гумилева, в «Звездном ужасе», ответ – простая песня. Рильке отвечает песней Орфея. Но Орфей – Бог, и его песня – Божья Песня. Разница не только в словах. Ответ Рильке – песня, ставшая молитвой, и молитва, ставшая песней. Ответ – в той глубине, где сходятся параллели, где этика, религия, искусство, истина не разделились или, может быть, сходятся заново.

Тиллих называет всю эту глубину религией. Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, ибо предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия (Тиллих П. Теология культуры. М., 1995, с. 240–241. См. также с. 254). Собственно религия, с его точки зрения, – только напоминание об этой глубине, понукание – не забывать глубины. Вероисповедание – только частица непостижимой бездны религии, где есть и благочестие, и вызов на суд, и бунт. Поэтому Бог заговорил с Иовом и поэтому древние книжники включили Книгу Иова в Библию: ибо Иов отвергал благочестие во имя религии, отвергал *представления* о Боге во имя живого Бога. Отвергал постигнутое во имя непостижимого.

Можно понять как нового Иова и бунт Ивана Карамазова. Так его понял Сергей Иосифович Фудель (в своей книге «Наследие Достоевского»). Он не согласен с Сергеем Булгаковым, считавшим бунт Ивана Карамазова чем-то вне души самого Достоевского. «Бунт Достоевского существует, – пишет Фудель, – но он, так же как все его неверие Фомино, только углубляет веру его и нашу. Это „бунт“ Иова.

Не совсем только личные невинные страдания давят своей тайной Иова... „Почему... бедных сталкивают с дороги... (и) в городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет и Бог не воспрещает того“. Разве это место Библии нельзя было бы продолжить рассказом о ребенке, затравленном генеральскими собаками?..

Не вера в Бога колеблется в Иове, а вера в божественный миропорядок.

«Не Бога я не принимаю, – говорит Иван, – я только билет ему почтительнейше возвращаю». В черновиках романа после изложения бунта есть такой диалог:

– Алеша, веруешь ли ты в Бога?

– Верую всем сердцем моим и более, чем когда-нибудь.

– А можешь принять? Алеша молчит.

– Можешь понять, как мать обнимет генерала?

– Нет. Еще не могу. Еще не могу.

– И Иов не может, а вслед за ним и Достоевский» (я пользовался машинописью, воспроизводящей текст автора без редакторской правки).

Нельзя благодарить Бога в газовой камере. Но можно понять, что Бог не извне страдальцев, что он вездесущ и страдает вместе со всей тварью, как Христос на кресте. На какой-то глубине мы вдруг выдерживаем взгляд на мир глазами Бога – одновременно внутри страдания и вне страдания. Взгляд, который Бог подарил Иову.

Мне некому вернуть билет,
Мне некого проклясть.
И у души отдушин нет,
Куда б излиться всласть.
К никого на стороне.
Никто не виноват,
А я во всем и все во мне,
Весь рай и целый ад.
И смерть не выход. Нет как нет
Во мне небытия.
Перед собой держать ответ
Всю вечность буду я.

(З. Миркина)

Бог откликается на вызов. Чем интенсивнее вызов, тем вероятнее ответ. Вызов на суд может быть ближе Богу, чем формулы благочестия. Когда вся душа вкладывает себя в вызов – Бог отвечает (не на формулы, созданные умом, а на порыв сердца). И явление Бога в сердце преображает его. И тогда приходит чувство собственной ответственности за весь мир. До этого Иван Карамазов не доходит. Он остается на пороге. Он колеблется в самой вере. Он мыслит: «Если Бога нет...» Тогда нигилизм. Тогда смердяковщина. Отсюда двойственное отношение Достоевского к Ивану Карамазову. И все же бунт Ивана Карамазова – это бунт Достоевского, и в Иване Карамазове он борется с самим собой. И эта борьба – плоть и кровь религии.

Благочестие, обряды, таинства ее не исчерпывают. «Чин» религии – только напоминание о глубине, только противовес дробности мира, в которой слишком легко затеряться.

Религия позволяет понять затерянность в мире как потерю Бога, как богооставленность, и толкает к молитве, к открытию Бога как собеседника. Для атеиста затерянность – это только затерянность, абсурд, потеря смысла, трагический тупик.

Ребенок играет, не думая о смысле. То, что его увлекает, еще не оторвано от смысла, от целостности бытия. Жизнь связана для него «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Каждая игрушка – узел. Вопрос о смысле жизни – признак потери смысла. Взрослые осознают эту потерю, ставят вопрос о Смысле и находят ответы. Но все ответы, оставшиеся на словах, – выцветшие синие птицы. Они сверкают небесной синевой в миг открытия и блекнут, когда что-то, стоящее за словом, исчезает. На уровне слов всегда можно ответить человеку, нашедшему смысл: «А зачем?».

Арджуна не хотел выполнять свой кастовый долг воина, он не видел смысла в битве. Кришна отвечает примером: «Если бы я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата». Но может быть, они не многого стоят, эти миры, полные страдания, и лучше небытие, угасание мук? Внутренняя сила ответа Кришны не в логике, а в чувстве. Кришна захватывает Арджуну своим творческим огнем. Его ответ так же нелогичен, как ответ Бога Иову и так же захватывает.

Этот захват – едва ли не главное в искусстве. Художник нарисовал кувшин. Что нас остановило? Почему я простоял минут десять около натюрморта с селедкой (Сутина, если я не ошибаюсь). Всамделишная селедка интересна только одним: своим вкусом. Нарисованная – она становится символом. Символом Целого, присутствующего в любой дробь. Символом творческого состояния художника, увидевшего Целое сквозь дробь. Творческое состояние художника само по себе божественный узел, и в искусстве мир становится сетью божественных узлов, Божественной сетью, второй Божественной сетью. Первая божественная сеть – сама действительность: Бог – поэт наивысший, сказал Тагор. Но только поэт видит мир как создание Поэта. Откликаюсь на красоту природы и доводя до красоты мир торопливо сделанных человеком, несовершенных вещей. Связывая заново мир, разорванный, расчеченный хлеба ради насущного.

Зачем мы идем в театр? Что нам Гекуба, спрашивает Гамлет. Что нам Гамлет? Почему мы выходим из театра обновленными? В чем суть катарсиса (не только в трагедии, во всяком искусстве)?

В творческом состоянии художника, которое искусство передает. В углублении жизни до уровня, на котором законы дробного мира слабеют и сквозь дробный мир проступает великое Целое. Все равно – через спектакль из пяти актов или через тихую жизнь вещей, схваченную на полотне.

Зачем мы поднимаемся в гору и застываем на ее вершине? Чтобы увидеть картину кисти Иеговы. Почему это созерцание – важнейшее дело (или, как говорят аскеты, – делание)? Потому что без созерцательного делания дело становится рядом дел, потерявших связь, и теряется смысл. Герой чеховской «Скучной истории» занимался хорошими и полезными делами, но потонул в своих делах, потонул в деталях, потерял Целое, потерял смысл. Потому итог его жизни стал «скучной историей».

Выход не в безделье и не в пренебрежении грубой работой ради особой, одухотворенной. Думаю, что у чеховского профессора были часы одухотворенного труда. Но он не пропитал каждый свой день чувством Целого. А средневековый китайский поэт Пан Юнь, о котором я уже несколько раз писал, нашел Божественный узел в самом простом: «Как это сверхъестественно! Как чудесно! Я таскаю воду, я подношу дрова!».

Об этом же самом говорит суфийская притча. Учителю рассказали о человеке, которого дух возносит над землей. «Птицы летают еще выше», – ответил шейх. А такого-то видели сразу в двух местах, не унимались ученики. «Дьявол может быть сразу в тысяче мест». –

«Что же есть высочайшее?» – «Пойти на базар, купить провизии, приготовить обед – и не забывать Бога».

Сегодня эта задача стала гораздо труднее, чем прежде. Очень уж далека от природы современная работа, очень уж разделилась на множество работ и требует полной отдачи всех сил частным, дробным задачам. Время для созерцания – только в паузах, и не во всякую паузу под руками природа, или картина художника, или великая музыка.

Молитва возможна всегда, молитва возможна и для верующего, и безо всякого символа веры. Я понимаю символы и догмы как словесные иконы, за которыми скрывается непостижимый лик Бога, так же как за хорошей иконой, писанной красками. Мне достаточно понимать, что целостная вечность не менее реальна, чем мир пространства и времени. И что Целое есть полнота бытия, максимум бытия, полнота всех качеств в простом единстве, ближайшее подобие которого – «сильно развитая личность» (выражение Достоевского, под которым он понимал подобие Христа). Целое может быть воспринято как личность, как божественное Ты, реальность которого раскрывается в диалоге с Я. Это Ты грозит исчезнуть, когда мы начинаем рассуждать о Боге в третьем лице³. Но в молитве оно реально. И в молитве всплывают образы искусства, рожденные в молитве и медитации.

Молитва и медитация веками сплетались с искусством. Каждая литургия – такое сплетение. Каждый культ обрastaет художеством, и без художества трудно себе его представить. Этот опыт истории стоит перед моими глазами, когда я вплетаю молитву или медитацию в созерцание природы и искусства. Возвращение к молитве не стало для меня разрывом с поисками катарсиса. Я думаю, что и в Греции катарсис нес на себе отпечаток религии, и в Новое время театр называли храмом. Меняются формы переплетения. Сегодня они могут быть и каноническими, и свободными от рамок канона; важен всегда только канон творческого состояния, внутренняя верность глубине, внутренний настрой на глубину.

Христианская молитва возникла в языческое время, когда искусство было языческим, а природа казалась полной демонов. И мир молитвы подвижников противостоял всему мирскому. Так же обстоит дело с медитацией в раннем буддизме. Потом ревнивая исключительность стала слабеть. До конца ее преодолел буддизм дзэн. В его живописи каждая травинка может стать иконой, каждый цветок единосущ Будде и связан с ним «неслиянно и нераздельно». В христианстве эстетическое и религиозное до сих пор не совсем слились. Достоевский подходит к этой задаче трижды: в словах «мир красота спасет», в статейке Ивана Карамазова о церкви, которая должна стать всем, и в Сне о планете смешного человека, где вовсе не было храмов. И лучи заходящего солнца становились для него, как для св. Василия Великого, «благодатью вечернего света».

А где-то, нет, совсем не где-то,
А здесь, сейчас, бездонность света,
И – вышел срок: совсем не где-то, не когда-го,
А нынче может встать
Распятый.
Ты жив, мой Бог!
О малолюбы, маловеры!
И нам без края и без меры
Сплошной поток!
О свет, ломающий запруды!
Зачем просить у Чуда чуда?
Ты есть, мой Бог!

³ См.: Бубер М. Два образа веры. Предисловие Г. Померанца. М., 1995.

Конец отсрочкам, расстояниям,
Вымаливаниям, ожиданиям...
Жизнь – это Ты.
Та – затянувшаяся рана.
Ты есть! Так значит я восстану.
Гроба пусты.

(З. Миркина)

Как-то ко мне подошел человек и спросил, что ему делать. У него совсем нет интуиции, о которой я говорю. Я посоветовал принять любое вероисповедание и держаться его рамок. Канонические формы тем больше нужны, чем меньше непосредственное чувство глубины. Великие мистики почти всегда нарушают каноны. Поэту, в минуты вдохновения, они совсем не нужны.

Православье, право славить.
Славить правильно Творца...
Только кто промолвить вправе,
Что навек и до конца
Прав? Что правду Божью зная,
В самом деле служит ей?
Разве иволга лесная,
Разве только соловей?

(З. Миркина)

Когда я глубоко живу, я вижу общую почву, из которой растут все высокие религии, все религии, обращенные к целостной вечности. Образом этой целостности света, еще не распавшегося на цвета спектра, может быть икона Христа или Троицы (как у Рублева) или незримый Бог Ветхого Завета, Бог Корана, аватары Вишну, буддийская Трикайя (три тела Будды – буддийский предшественник христианской Троицы). Можно создавать и новые образы. Достоевский создал новый символ веры в известном письме Фонвизиной, и я отношусь к этому символу совершенно серьезно. Бубер создал новый символ в своем учении о Я и Ты – о реальности, проступающей в молитве и исчезающей в размышлениях. Новые символы веры рождаются из сомнения в старых символах, как Афродита из пены. Все символы веры рождаются из чувства бездны, ставшего чувством света. Это слова, от которых раскрылись крылья и вознесли над бездной одного единственного затерянного человека, а потом уже традиция.

Есть люди, для которых религия – это ломбард, в котором хранятся семейные сокровища; для Достоевского это вечный кризис веры и вечный поиск выхода из кризиса. Его православие ближе к Ивану Карамазову, чем к Ферапонту (из того же романа). Но если искать образец, особенно близкий русскому писателю, то это Иов. Вера как кризис объединяет подвижников разных вер, вплоть до буддизма дзэн с его великим сомнением накануне великого сатори (просветления). Целое, раскрывшееся в муках, может стать собеседником, как лицо, и окутать, как туман, стать светом и тьмой, чреватой вспышками огня. Образ Целого – и человек, подобный Богу, и дерево. «Старая сосна проповедует мудрость, и дикая птица выкрикивает истину», – написал японский поэт. И Мышкин говорит: «Разве можно видеть дерево я не быть счастливым?».

«Измерение молитвы», о котором я прочел у Антония Блума, так же реально, как долгота и широта. Но *одно* измерение, наряду с другими, а не единственный подступ к глубине.

Благословенны все пути к ней. Молитва – помощница человеку во всем добром. В том числе – в созерцании красоты.

Мне запомнились слова Антония Блума: «помоги мне молиться». На первый взгляд – странно: просить Бога, чтобы Он помог молиться Богу. Но чем дальше, тем больше меня это захватывало: «помоги». Антоний почувствовал Бога-личность как помощника, и это вошло в меня. Я прошу *помочь* мне затихнуть в созерцании, помочь мне собраться под образом любви, помочь мне принять мир таким, каким Бог его создал, не умножая зла своим нетерпением. В юности я не имел этой помощи и очень долго созерцал бездну тьмы, пока в ней не забрезжил свет. Можно было свихнуться. Сейчас я вспоминаю чувство бездны, чтобы сразу же попросить поддержки, попросить помочь мне расправить крылья.

Я пытаюсь взять в предании то, что не обветшало, что и сейчас живет. Я не боюсь брать из нескольких традиций сразу. Я принимаю помощь отовсюду, где нахожу ее. Я не становлюсь рабом традиции и не участвую в споре: какая традиция лучше. Или что выше: религия в рамках догм, свободное от догм искусство, созерцание природы, любовь... Все может быть Путем, и все пути в глубину сходятся. Мой покойный друг Владимир Казьмин писал: всякая картина стремится стать иконой, всякое здание – храмом, всякое стихотворение – молитвой.

Граница между поверхностью и глубиной, тьмой внешней и царствием внутри нас не совпадает с границами церкви, уммы, сангхи. В каждой церкви есть свой темный двойник, свой Ферапонт. Штейнер говорил об аде для любителей природы (для которых созерцание становится наслаждением, гастрономией). Так же можно сказать об аде для ревнителей буквы традиции, в ущерб духу, веющему всюду. Символы – наши помощники, а не господа. И каждый куст может стать символом – если наши глаза достаточно зорки.

Путь в глубину – постоянно открытый, постоянно вновь начинающийся процесс. Каждый истинный путь – такой процесс: молитва, медитация, созерцание Божьего творчества в природе, любовь к ближнему... У художника таким путем может быть одержимость его искусством. И лучше всего, если несколько путей сплетаются вместе, – как у Рильке, как у поэта, которого я уже несколько раз цитировал:

Мой Боже, Бог мой... Из моих берез,
Дождя, травы и звона дальней птицы
В меня вошел и из меня пророс.
Нельзя иначе Богу появиться
Здесь, на земле. Есть место лишь одно:
Внутри меня. И в радости, и в муке
Вот это сердце выносить должно
Тебя, и вынянчить вот эти руки,
Мой Бог – мой сын. Я тварь Твоя и мать.
О, Господи, сумею ли так много:
Зачать, родить и, вырастив, отдать
Тебя во тьму, чтоб Бог вернулся к Богу?

(З. Миркина)

Работа любви

«Работа любви» кажется странным сочетанием слов. Естественнее сказать свобода любви, поэзия любви, наконец – музыка любви. Естественнее потому, что мы воспринимаем любовь, прежде всего, как встречу мужчины и женщины. Этому научили нас трубадуры, миннезингеры и поэты, пошедшие по их следам. Но в ранней средневековой культуре есте-

ственное было говорить об умирении любви (Богоматери к младенцу); а в китайской культуре – о долге любви (детей к своим родителям). Не видимый акцент на эротической любви – черта совсем не природная. Акцент принадлежит культуре. Порывы любви-страсти бывали всегда, но без поддержки песни, сказки, сказания, без своего рода культа любви страсть вспыхивала, прогорала и гасла, не передавая свой огонь потомкам.

Фукидид отмечает как странность, как индивидуальную черту Перикла – то, что он каждое утро, уходя из дома, целовал Аспазию. Греческий эрос совсем не предполагал нежности. По крайней мере, у мужчин. Потребность женщины в нежности оставалась не насыщенной, как муки Федры, опьяненной любовным дурманом. С этим, может быть, связано изобретение лесбийской любви (предание приписывает это Сафо, жившей на острове Лесбос; впрочем, по другой легенде, Сафо бросилась со скалы от безнадежной любви к юноше Фаону).

Долгую, глубокую нежность мы находим скорее в Библии, в посмертной любви Руфи к своему мужу, в благочестивом желании продолжить род своего мужа, хотя бы не от него лично. Формы, в которых библейское благочестие связано с полом, для нас непривычны, но сама возможность начать брачную ночь с молитвы (как в книге Товия) – целое открытие, и современный писатель Башевис-Зингер возвращается к нему в романе «Раб». Наконец, в «Песни Песней» мы находим замечательные слова, вдохновившие Мейстера Экхарта на проповедь: «Ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень всемогущий». От «Песни Песней» идет средневековая метафорика любви, – мистической любви с отпечатком земной страсти и земной – с отсветом неба.

Я говорю прежде всего о западной традиции, но известные аналогии можно найти в мусульманском суфизме и в индийской традиции бхакти. В Индии развитие было доведено до предела, до реализации метафоры, до полного тождества между соединением влюбленных и мистическим союзом души с Богом. Только в России и в Китае Средние века не были веками, открывшими поэзию любви. У нас это открытие сделал Пушкин; и в «Сценах из рыцарских времен» он создал своего Рыцаря бедного, смешавшего поклонение даме сердца с почитанием Богоматери. В первом варианте стихотворения это граничит с кошунством, но —

Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

Средневековый культ любви и средневековая аскеза связаны «неслиянно и нераздельно», как две природы Христа, божеская и человеческая. Церковь хранила образ Мадонны, бесконечно любившей Бога и своего Сына, но никогда не знавшей страсти. Церковь поддерживала патриархальную семью, мешавшую соединиться влюбленным – потому что он Монтекки, а она Капулетти, или потому, что он беден, как Перголезе. Церковь унижала земное и плотское перед лицом неба и духа. Но для романтической любви противостояние земного и небесного было чем-то вроде разъединения электродов, между которыми вспыхивает вольтова дуга. Без разъединения нет и вспышки. Вольтовы дуги любви, сильной, как смерть, и возвышенной, как молитва, светят нам в восхождении Беатриче на небо. В стихах суфиев образ возлюбленной становится ипостасью Бога и любовная страсть – исполнением первой заповеди (полюбить Бога всем сердцем). «Когда боги были человечней» (Шиллер), в Древней Элладке, небо любви еще не распростерлось над землей.

В судьбе Перголезе земное, казалось бы, полностью перегорает. Невеста, не получив родительского благословения на брак, ушла в монастырь и через год умерла. Перголезе тоже постригся и вскоре умер. Но в «Stabat Mater» сочиненном незадолго до смерти, страдания Богоматери сливаются со страданиями возлюбленной и собственными мучениями. То, что разделено на уровне слов, сливается в музыке.

В Новое время любовь, шаг за шагом, обретала внешнюю свободу и теряла поэтичность. Атеист Стендаль, всю жизнь думавший о любви, делает героинями своих романов верующих женщин. Только глубоко веровавшая мадам де Реналь могла сказать любовнику: «Я чувствую к тебе то, что должна была бы испытывать к Богу: благоговение, страх, любовь». Рационалистка Матильда де ла Моль этого чувства не знала. И в любви Фабрицио дель Донго очень много значит его вера. На первый взгляд, религиозное служение препятствует чувству и делает невозможным соединение с Клелией Конти. Но любовь вырастает от препятствий, и Фабрицио умирает, как Перголезе, сплетая небесное с земным в своем последнем вздохе.

В течение всего Нового времени падали, один за другим, запреты; но одновременно вырастала другая сила, враждебная любви: пошлость. Только в конце XIX в. к этой опасной теме стали прикасаться: Мопассан в «Жизни», Толстой в «Крейцеровой сонате». Наконец, Рильке (уже в наш век) произнес странные слова о *работе любви*.

Первая часть этой непривычной работы – освобождение места для любви, утверждение веры в реальность любви. Иногда эта работа проходит в семье, где умные сердцем родители незаметно передают свой опыт ребенку и подростку. Главное здесь – пример. Мне рассказывала женщина о незабываемом следе любви, оставленном в ней отцом с матерью. Каждый день, проведенный без жены, отец считал вычеркнутым из жизни. У меня такого примера не было. Наоборот, папа и мама постоянно ссорились друг с другом, потом фактически разъехались и наконец формально разошлись. По отдельности они очень любили меня, но жить вместе не сумели, и опасность неудачного союза врезалась в мое сознание. А потом я остался без всякого примера и поддержки, мне было двенадцать лет, когда мама уехала в другой город. Отец с утра до вечера был занят своей работой. В одиночестве стремительно развивался мой ум, и радости ума, радости яркой мысли, пробудившейся во мне довольно рано, вытеснили во мне воспоминания о нежности матери. Я хорошо помню, что чувство полноты жизни я испытывал какой-то точкой посередине лба. И меня выбирали в товарищи умные мальчики, искавшие собеседника; а девушки головастики не любят. Я отвечал им тем же.

Лет с пятнадцати на меня наваливались острые приступы полового голода. Но именно голода, а не любви. Было стыдно выказать свое желание девушке. Что-то во мне осталось от детской нежности к матери, я не мог прикоснуться к женщине без нежности, попробовал раз – ничего у меня не получилось, обжегся, почти буквально обжегся от собственного грубого прикосновения и больше никогда не повторял, не участвовал в подростковых играх. А душевного порыва, захваченности женской душой я не испытывал. Может быть, просто не встречались в школьные годы такие, которые вызвали бы во мне потребность быть всегда вместе.

В институте были два случая, затронувшие меня. Первый длился один миг, но я его помню: острая жалость к девушке, неудержимо рыдавшей наутро после ночного ареста отца. Захотелось подойти, сказать какие-то слова... И тут же почувствовал, что не умею утешать, не знаю нужных слов, нет чего-то в моем сердце, жалость была, а слов не было. Простоял нерешительно минуту и отошел.

Другой раз восторг вызвала во мне Агнесса Кун – внутренней силой, с которой она царила при надоевшей тогда скучной процедуре исключения из комсомола «за потерю политической бдительности» (в отношениях с отцом, матерью и мужем). Меня залил восторг, а

казалось бы – чего еще нужно для любви? Но был еще муж, и я не видел никакой достойной роли, кроме роли друга; усилием воли я повернул себя к дружбе.

Но вот вопрос: почему мне нужен был именно чрезвычайный случай? Почему не вышла тихая любовь к какой-нибудь обыкновенной девушке в обыкновенной, не чрезвычайной обстановке? Отчетливо помню одно: я боялся быть связанным и пропустить что-то... Что именно? Вызревавшее во мне самое? Готовое встретиться? *Обычная* семейная жизнь, без заложенной в ней духовной пружины, казалась мне ловушкой и может быть действительно была ловушкой... Особенно если ребенок связал бы нас вопреки чему-то главному, как я когда-то связал отца с матерью еще лет на десять после того, как мама внутренне ушла из семьи. Призрак неудачного союза, в котором я родился, стоял передо мной как запретительный знак и мешал накручиванию симпатии, а попросту говоря самообману, без которой не обходится средняя любовная история. Может быть, а даже наверняка, я слишком высоко себя ценил, но я *не хотел* обыденного семейного счастья. Там, где обычно разгорается воображение, у меня оно гасло. Я возвращался к бесплотным идеям, кружившийся в моей одинокой голове.

И вдруг – война. Ей нет дела до моих мыслей. Ей нужны солдаты, мои аналитические способности как-то сразу поблекли, и великая иллюзия завладела мною. Я перестал быть одиноким мыслителем, я стал рядовым необученным, ждавшим вызова, и почувствовал нужду, в которой не стыдно признаться женщине: нужду в существе, которое будет ждать меня, нужду в матери, которая родит сына, когда меня самого убьют. Для этого не требовалась подруга с необыкновенной силой и душевным богатством, довольно было мало-мальского понимания друг друга, и два раза за время войны дружеские отношения с девушкой перерастали в роман (разгоравшийся в письмах). Одна из этих историй завершилась опытом совместной жизни, длившимся три года.

Я пишу о любви, но все время приходится вспоминать аресты. Такая была жизнь. Арест оборвал мою связь с Миррой: она послушалась матери, предостерегавшей ее от поездок на свидание. Мое чувство собственного достоинства было оскорблено, и после нескольких месяцев тягостных сомнений я решил все оборвать. Не имеет смысла восстанавливать семью, где я буду на третьем месте, после папы и мамы, при этом я понимал, что Мирра дождется меня, но не из-за глубокого личного чувства, а по примеру папы и мамы. Мне это было не нужно. Если я не способен вызвать настоящей любви, то не надо мне никакой. Останусь один. Я, по-видимому, просто создан не для любви, а для дружбы. И не надо садиться не в свои сани.

Между тем, судьба незаметно проделывала со мной работу, необходимую именно для любви. Сперва на войне, захватывая страхом и победой над страхом, втягивая в сердце душу, слишком переместившуюся в голову. Мне открылся мир простых радостей: солнца в синем небе в перерывах между боями, печурки в блиндаже, письма от девушки... Но я все еще был слишком полон собой. Освободил меня от этого груза лагерь. Началось, кажется, в один из первых дней, когда мне было велено собирать самодельные ножи, выброшенные в запретную зону. Скорчившись на этой работе, я очень отчетливо почувствовал себя рядовым рабом, ничем не отличающимся от других рабов, начиная со времен фараонов Древнего Царства. Но решающим был один смешной случай. Я уже рассказывал о нем в «Записках гадкого утенка». Мы бродили от вахты к столовой и от столовой к вахте и беседовали. В «Пережитых абстракциях» я дал трем персонажам имена: Виктор, Николай и Евгений. Евгений – действительно имя Евгения Борисовича Федорова, будущего писателя. Николай – это я. Виктора так и оставил Виктором. Он очень мягко, вежливо и поэтому долго объяснял, что его ум обладает и способностью философствовать, как я, и одаренностью в позитивной науке. Женя (моложе нас на 11 лет – тогда это значило: на треть жизни) молча слушал, а потом коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». И вдруг я с ужасом почувствовал нелепость

положения: я ведь тоже считал себя умнее всех. Но ведь это похоже на Поприщина, уверенного, что он – испанский король. Сошлись три Поприщина и спорят, кто из них настоящий король. И все трое – сумасшедшие.

Разговор оборвался. Мы вошли в сортир по малой нужде. Через очко было видно, как в жиже копошатся черви. Почему-то на этом фоне высокомерие трех интеллектуалов выглядело особенно жалким. Я почувствовал себя обязанным сказать и сказал: ну что ж, оставляю вас двоих спорить за первое место, а себе беру второе. Сказал и почувствовал такую боль, словно ножом вырезал из себя тщеславие. И я его вырезал. Впоследствии мне пришлось читать у Достоевского, что самое важное в жизни – найти в ней второе место после Бога. После любимого. Пока я не пережил этого, я читал об этом – и не замечал, не вчитывался, не вдумывался. Только пережив – понял. Задним числом.

Это понимание очистило место для любви. Она вспыхнула, когда первая встреча захватила меня сочувствием и жалостью. Здесь не было узнавания, не было догадки, что рядом с этой душой, вместе с ней моя душа будет расти. Только готовность всю себя отдать ей. Которой это было не нужно. Во время недолгих встреч я был сдержан и не возникало никаких проблем. Мы просто разговаривали друг с другом. Вспышка произошла, когда девушку списали с предприятия (она собственно заменяла заболевшую уборщицу). Взрыв чувства захватил меня ночью. Я плакал и в слезах написал первое письмо.

Выздоровевшая уборщица сидела по статье 58–12, недоносительство. Я доверил ей свое послание; на другой день получил ответ. Полетели письма-голубки. Роман тянулся года два. Вскоре я вышел на волю – и приехал к *ней* на свидание. Потом и она оказалась дома. Я съездил на Кавказ – тогда совсем мирный – и вдруг понял, что она права, объясняя мне, что мы не созданы друг для друга. Осталось только сознание, что во мне есть способность к большой любви, такой, о которой поэты пишут, а в жизни почти не бывает.

Эта способность дремала во мне года два, до случайно сложившихся, почти ежедневных, встреч с Ирой Муравьевой. Она болела, я ее навещал. Чтобы не скучать, мы стали читать стихи; и меня захватило, как она их читала. Я почувствовал ее по интонациям в стихах Ахматовой, Гумилева, Цветаевой. Она не просто читала. Чужие стихи становились ее стихами, слово становилось плотью. Выглядела Ира плохо, губы посинели, одета была небрежно, но все это не имело значения. Захватывала личность, захватывала судьба, жившая в этом смертельно больном теле.

Все это подробно описано в моей книге «Сны земли». Я написал странички «В сторону Иры» лет пятнадцать после ее смерти и почти столько же лет после счастливой встречи с Зинаидой Миркиной, но все эти годы во мне жила задача – написать об Ире, и думая об этом, я становился писателем. Мне говорили, что на страничках об Ире я косвенно описал самого себя, но напрямую писать о себе мне было неинтересно. Прошло еще десять лет, пока, по просьбе читателей, я взялся за «Записки гадкого утенка».

За три года жизни с Ирой я понял вторую работу любви: борьбу с «самым большим препятствием», с отсутствием всяких препятствий. Ира несколько раз повторяла французскую поговорку: самое большое препятствие любви, когда не остается никаких препятствий. У нее был опыт угасания любовной вспышки. Я столкнулся с задачей впервые и долго бился, пока решил ее; порою доходил до отчаяния: ускользала, угасала любовь, оставалось только чувство связи с больной женщиной, которую нельзя было просто бросить и начать другую историю.

Шаг за шагом я изучал работу любви. Перво-наперво – сдержанность. Усталость превращает близость в сладкую каторгу. Прикасаешься к женщине с мыслью, как завтра будет болеть голова. Но никакого чуда сдержанность не дает. Только здоровье. А как же чудо, которое обещали стихи, обещали глаза, встретившиеся с моими глазами? Я верил, что глаза не

лгали, и искал, как подтвердить правду, которую знала моя душа и не знало тело. Разгадка была в музыке осязания. Но здесь нужно долгое отступление – о музыке.

Однажды сидел я в кино. На экране «Чапаев». Еще не заигранный, еще не ставший анекдотом: психическая атака каппелевцев, Анка-пулеметчица, артист Бабочкин выразительно тонет в реке... Я был захвачен. И вдруг, на волне захваченности, меня перехватила «Лунная соната». Играл белогвардейский полковник. Он был несколько тучен (так полагалось эксплуататору в 1934 году; генералов рисовали с брюхом Тараса Бульбы). И, конечно, интеллигентская внешность прикрывала зверя: доиграв, он приказал пороть пленного шом-полами. Но Бетховен выдержал; он перешагнул через сюжет. Я не был приучен к серьезной музыке. Читал в книгах, как она заполняла и переполняла душу, но понимал это – одним умом. Попытки слушать кончались одним и тем же: звуки рассыпались, я не улавливал музыкальной мысли. И вдруг – сложилось! Этот кусок «Лунной» я понял. Разумеется, слово «понял» здесь имеет другой смысл, чем при понимании математической задачи. Когда говорят о понимании музыки или живописи, речь идет скорее о передаче чувства, об углублении жизни до того уровня, на котором жил художник. Понять, чувствовать, любить здесь синонимы. Адам познал Еву: тут сразу и любовь, и знание души...

Я попросил знакомую девочку, немного бренчавшую, сыграть «Лунную». Увы! Под ее пальцами волна рассыпалась на отдельные неуверенные всплески. Все же я иногда просил поиграть, напомнить *то* впечатление. Больше того: я нашел учительницу и стал брать уроки музыки (дома стояло заброшенное фортепьяно). Мои пальцы не слушались, поздно начинать в 16–17 лет. Пробовал ходить на концерты – и скучал. Наконец – повезло. Мне было уже 18. В Москву заехал дирижер Вилли Ферреро. Исполнялось (помнится, в Доме ученых) «Болеро» Равеля. И оно взяло сразу за шиворот. Колдовство не прерывалось и нарастало, нарастало... Повторялась одна и та же музыкальная фраза, мне не в чем было запутаться, ритм не отпускал, и я отдался этому ритму, как в море – покачиваясь мертвой зыби. Все было прекрасно.

Однако на другие симфонические концерты этот контакт не перешел. Музыка опять была сама по себе, и я сам по себе. Пришлось ограничиться оперой и старинными романсами. Пантофель-Нечецкая, Доливо (кажется, Анатолий), почти хрипевший вместо пения, но я прощал ему хрип за верную интонацию: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью ожидать...» И в опере меня захватывал трагический текст вместе с музыкой: «Пускай погибну я!..», «Что наша жизнь? Игра! Добро и зло – одни мечты...» Без слова, в стихии чистой музыки, я по-прежнему шел ко дну. И встретившись со стихами Мандельштама, не понял их. Понимал Блока, в ритмах которого скрыт романс. А «Моцарт на воде и Шуберт в птичьем гаме» не доходили до меня.

Война здесь ничего не изменила. Только снизила уровень запросов – до «Землянки» Суркова, до «Темной ночи» (не помню чьей). Хотя – кто знает! Очень может быть, что привычное обострение чувств под огнем, острое восприятие красоты земли и неба особенно в дни затишья, но иногда и в бою – сказались на восприятии природы много лет спустя.

Неожиданно помог моему музыкальному образованию лагерь. Я попал туда в июне и сразу окунулся в белые ночи. Входить в игру света и цвета меня научили импрессионисты (в студенческие годы я каждую неделю, как в церковь, ходил в Музей Нового западного искусства). А здесь платье «Обнаженной» Ренуара, небрежно брошенное на кресло, развернулось в целое небо и зажило, меняя и меняя свои переливы. С вечера до полуночи я не мог оторваться от симфонии, которую импровизировал свет, и, прячась от надзора, продолжал бродить после отбоя. Жалкие человеческие затеи – бараки, вышки, колючая проволока – тонули в северном небе, «как урна с окурками в океане» (метафора, которую я впоследствии подобрал у Кришнамурти).

Потом фестиваль света кончился. Началась тоска черных зимних ночей. Только музыка, лившаяся из репродукторов, доносила переливы духа. Тогда народ приучали к русской музыке XIX века, передавали по радио симфонии Чайковского, одну за другой. Народ жался поближе к печке и забивал козла. Даже моих друзей, интеллектуалов, тридцатипятиградусный мороз загонял в бараки. Нашелся только один меломан, молча бродивший – взад и вперед, от вахты к столовой и от столовой к вахте. Вторым был я. Качество звука на морозе было сносным, но конечно, хуже, чем в консерватории. Что же помогало моему восприятию? Тоска по Москве. Симфонии были приветом оттуда, они так же перешагивали через колючую проволоку, как белые ночи. И привычка созерцать абстрактное искусство света помогло войти в абстрактное искусство звука, войти в прямой разговор с Богом и судьбой, мимо всех человеческих уродств.

Вернувшись в Москву, я в одном из первых домов, куда зашел, увидел на столе томик Мандельштама, сборник 1930 года. Стал читать – и все понимал. Понимал так, как белые ночи, как музыку зимой. Мандельштам уходит корнями в ту самую серьезную музыку, где я раньше терялся. Мне открылось целое измерение действительности, как бы наряду с тремя измерениями физического пространства, исчерпывающими школьное представление о бытии. Я думаю теперь, что европейская музыкальная классика была ответом на вызов бесконечности пространства и времени, испугавший Паскаля. Раскрытие внутренней бесконечности уравнивало внешнюю, дурную бесконечность, тьму внешнюю. «Прекрасное, – писал Рильке, – это та часть ужасного, которую мы способны вместить», страх «всепоглощающей и миротворной бездны» (не могу не вспомнить Тютчева) музыка вместила внутрь, и он стал трепетом вечной жизни.

С этих пор я стал чувствовать музыкальное измерение во всем, в том числе в любви. Музыка взглядов не требует никакого мастерства, она возникает, как птичье пение; сохранить музыку, когда встретились не только глаза, действительно трудно. То есть трудно на первых порах. Трудно *учиться* музыке, потом складывается что-то вроде искусства флейтиста. Меня учила любовь, бережность к любви, желание сохранять любовь. Какой-то минимум мастерства сложился. Он очень невелик: чтобы сдержанная чувственность слушалась сердца, а сердце слушалось музыки. Шопен писал Жорж Санд, что в только что сочиненном ноктюрне он записал пережитую с ней ночь. Я его понимаю.

К сожалению, эти простые истины совершенно не стали общим фактом культуры. А между тем, они просто снимают ряд надоевших моральных проблем. Пара, связанная музыкой, так же устойчива, как содружество Казальса (виолончель) и Хоршовского (фортепьяно), десятки лет концертировавших вместе, безо всякого желания сменить партнера. Хотя в таком, музыкальном складе нет ни брачных уз, ни заботы о детях: достаточно общего чувства музыки. Сколько несчастий можно было бы избежать, скольких надрывов, разрывов, самоубийств!

Почти что стали поговоркой стихи Надсона:

Только утро любви хорошо. Хороши
Только первые, робкие речи...

Хотя это опыт рано умершего юноши, так и не успевшего втиснуть свою страсть в строгую музыкальную форму. Или опыт человека, до старости не сумевшего сладить со своими страстями, – как герой «Крейцеровой сонаты». Все, что я здесь пишу, – спор со Львом Толстым, опыт, противопоставленный опыту. Опыт целой жизни – от юности до старости.

Вопреки общему мнению, близость мужчины и женщины может быть не только музыкой, но и молитвой. Вся жизнь может стать музыкой и молитвой: прогулка в лесу, закат на берегу моря – все измерения твоего бытия. До конца это удается немногим, я не волшебник,

я только учусь. В шорохе ветвей, в кружении осенних листьев и в пении птиц весной я учусь слышать музыку, дыхание Целого, где хаос фактов связан «Божественным узлом» (Сент-Экзюпери). Костер в лесу может дать мне радость, сравнимую с любовной встречей, и в тишине я слышу «хоры ангелов» (Миркина). Я гляжу на Троицу Рублева и вижу в ней не только образы ангелов, а волны музыки, переливающихся от правого ангела к среднему и от него к левому, – музыки, замыкающейся в кружении вокруг незримого центра. В этом кругу бесконечность страдания и сострадания тонет в бесконечной радости творчества, в творческом огне. Я собираю себя под образом этой внутренней бесконечности и не чувствую хворей, не чувствую убывания сил; есть только волны божественных энергий, разлитых вокруг и переливающихся во мне. Я думаю о бедных людях, не слышащих этой музыки, и молюсь за души, не сумевшие затихнуть. Я вспоминаю стихотворение Зинаиды Миркиной:

Тишину измеряют сердцем.
 Тишиной измеряют сердце.
 Все, кто стихли, – единоверцы.
 Все мы слушаем Одного.
 Нам открылись такие дали!
 Мы с тобой в этот миг узнали,
 Не придумали, а узнали
 Сердцем Господа своего.

Работа любви не прекращается ни в праздники, ни в будни. Без этого праздник кончится похмельем, а будни все поглотят. Работа любви – это соблюдение первой заповеди (всегда помнить). Это собирание себя под образом любви, чтобы не оставалось никакой почвы для столкновения самолюбий, для раздражения, срывов, ссор. А если нечаянно случится ссора – спохватиться и собраться и помириться еще до вечера, со всеми поводами ссоры, потонувшими в любви, на той глубине, где есть только любовь.

Только пережив все это, я смог понять странные слова Рильке о работе любви. И слова Сент-Экзюпери – о том же (французский писатель не расставался с томиком «Записок Мальте-Лауридса Бригге»).

В этих «Записках», неожиданно переходящих с одной темы на другую, Рильке несколько раз возвращается к одному клубку идей, сплетающихся в его понимании любви. Первая – превосходство женщин, взявших всю работу любви на себя, оставив мужчинам самую легкую долю (наслаждение). «Разве мы не могли бы сделать попытки хоть немного развиться и мало-помалу, постепенно, взять на себя свою долю работы в деле любви?» («Записки», перев. Горбуновой. М., 1913, часть 2, с. 6).

Почти никогда этого еще не было. И в переписке Гёте с Беттиной фон Арним величие любви – не на его стороне: «Все читают его ответы и верят им больше, нежели тебе самой, потому что поэт для них понятнее... Но, может быть, когда-нибудь окажется, что в этих ответах сказалась граница его величия. Ему была ниспослана воплощенная любовь, а он не смог вместить ее... При всем своем величии, он должен был бы смириться перед нею и, как Иоанн на Патмосе, стоя на коленях, писать то, что она диктовала ему» (там же, с. 94).

Вторая идея – то, что «такая любовь не нуждается во взаимности, в ней самой заключается и призыв, и ответ на него» (там же, 94). «Возлюбленная всегда выше возлюбленного, потому что жизнь выше судьбы. Ее самопожертвование жаждет быть безграничным – в этом ее счастье» (с. 55).

Третья идея – что любящий всегда выше любимого: «Плохо живет тем, которых любят, и всегда им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности... в них тайна приобретает единство, в них она не распа-

дается на части, и они, подобно соловьям, всю ее целиком разглашают вокруг. Оплакивают они одного, но вся природа присоединяется к ним: в них говорит тоска по вечному. Они бросаются во след исчезающему, но с первых же шагов обгоняют его и оказываются перед лицом Бога» (с. 130).

Эта идея – что в любящих говорит тоска по вечному, по Богу, – развита в «Цитадели» Сент-Экзюпери (Соч. М., 1994, т. 2): «Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь разговор о смысле вещей, и «она» для тебя – Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей» (с. 269).

«Теперь я знаю, полюбить – значит разглядеть сквозь дробность мира картину, любовь – это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, – я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменялось» (там же, с. 294).

«И я подумал: „даже те, кто умеет видеть за вещами Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину – немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не известное тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Поэтому я и приготавливаю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч“» (там же, с. 293).

Любовь углубляет жизнь, и углубление жизни открывает дорогу любви.

Подлинное и призрачное счастье

Первый раз я написал о счастье в 1958 году. Моей задачей было убедить молодого человека, что ничего пошлого, недостойного в счастье нет. Что это даже долг – быть счастливым, уметь быть счастливым при малейшей возможности, в самых скверных условиях (на войне, в лагере), при малейшем просвете радости, и делиться с людьми счастьем, а не своим мрачным видом и срывами больных нервов. Впоследствии я написал о счастье статью для словаря; приведу оттуда первый абзац:

«Счастье – понятие, сложившееся на опыте миллионов людей, чаще созерцавших счастье извне, чем испытывавших его. Отсюда разные синонимы счастья: удача, успех, благополучие. Это первый ряд значений. Такое счастье – незаслуженная милость судьбы или Бога (дуракам счастье). Другой ряд синонимов счастья встречается в поэзии: полнота жизни, полнота любви, блаженство. В понимании идеологов и политиков счастье народа означает благополучие (часто мнимое). Пушкин, говоря о Юсупове, называет счастьем жизнь в свое удовольствие: “Счастливый человек, для жизни ты живешь!”. Свое собственное счастье он (в зрелые годы) понимает иначе: “О, как мучительно тобою счастлив я!”. У героев Достоевского счастье всегда смешано со страданием, и это не только его личная черта. Мы находим и у олимпийца Гёте, в песенке Клерхен: “Быть полным радости, страдания и мысли...”».

На протяжении почти сорока лет мое представление о счастье очень мало менялось. И вдруг его поставил под вопрос Фазиль Искандер. Герой маленького рассказа «Сон» просыпается и думает о непрочности семейной жизни. «И хотя они с женой жили дружно, он подумал: в жизни всё может случиться. Чего-то главного им всегда не хватало.

Но чего? Он подумал: люди связаны прочной близостью, только если вместе молятся или вместе совершают преступление. Ни того, ни другого у них не было. Да, подумал он,

прочно людей связывает или небо, или ад. Всё остальное непрочно. И даже имеет право на непрочность. И он затосковал о Боге и ощутил свою вину, что не затосковал о нем раньше.

Внезапно он вспомнил, что несколько дней назад распалась семья его друга. Не этим ли объясняется его сон? Он считал, что это счастливая, верующая, озвученная громкоголосыми детьми семья. И вот все рухнуло. Вера не помогла.

Да и есть ли счастливые семьи? Он крепко задумался. Да, вспомнил он, одну такую семью он знал с самого детства. Это была патриархальная крестьянская семья. В этой семье муж и жена не только не стремились к какому-то счастью, но даже не подозревали, что оно существует (существует!) и к нему надо стремиться. Для них добросовестное выполнение долга и было счастьем, но они не знали, что это так называется. Само стремление к счастью греховно, подумал он. Счастье как бы предполагает тайный, только для меня солнечный день. *Счастье – это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы обвиняем других. Все шире охватывающая мир наркомания – ответ на идеологию счастья* («Континент», № 92, с. 196).

Я подчеркнул то, что меня поразило. Рассуждение, ведущее к неожиданному выводу, слабое, а вывод сильный. Что-то здесь Искандер припечатал, какую-то болезнь времени. И скорее всего вывод пришел в голову раньше, чем рассуждение, скачкообразное и переходящее от одного спорного тезиса к другому. Общее преступление чаще связывает бандитов, чем супругов, и неверно, что адские связи так же прочны, как небесные. Ангелы солидарны в своей любви к Богу, а черти скорее грызутся между собой – как Сталин с Гитлером. У них было общее преступление (раздел Польши); но продержалась закаятая дружба менее двух лет. Замечу как бы в скобках: я не думаю, что адское – это небесное наизнанку и в аду такая же строгая иерархия, как на небе. Небесная иерархия замешена на любви; иерархия власти – всегда только до поры, до времени.

Что может связать супругов, кроме любви? Чувственная привязанность? Она слабеет с годами. Общие дети? Расходятся, бросая детей. Общие денежные интересы? Они не всегда сильны. Общая молитва? Искандер в ней разуверился. По-моему, молитва молитве рознь. Если она связывает с Богом, то все свяжет. А если бормочут люди привычные, с детства выученные слова, то такая молитва – разговор по выключенному телефону (беру этот пример у Габриэлы Босси⁴).

На чем основана крепость патриархальной семьи? На традициях, не всегда хороших. В том же Чегеме – кровная месть. И еще на одном: на патриархальном терроре против нарушителей порядка. Мне запомнился фильм «Древо желания»: девушку выдали за нелюбимого, и когда она не сумела скрыть своих чувств, ее убили. Те же идеи у купца из «Крейцеровой сонаты» Толстого: женщине надо дать «укорот», забить до совершенной потери грешных желаний.

Любопытно, что в повести «Морской скорпион», написанной до перестройки, Искандер ставит тот же вопрос, о непрочности семьи, но положительный пример у него другой: приятель, полюбивший девушку за что-то прекрасное в душе (и, видимо, она его за то же); рассказчик удивлен, чем эта курносенькая, с косичками, могла пленить, а потом корит самого себя: почему он думал, что за ямочками на щеках непременно скрывается чуткая, нежная душа? Так что виноватым оказывается не идея семейного счастья, а поверхностный выбор подруги, и напрашивается итог: прочная семья основана на другом выборе, на захваченности всей полнотой личности и судьбы...

Что изменилось за 15–20 лет? Почему сама идея счастья попала на скамью подсудимых? Я думаю, непосредственный личный опыт остался тем же; но изменилось общество. Рассыпалась связка ценностей и целей, где рядом со счастьем, переключаясь с ним, были

⁴ Бельгийская писательница, издавшая книжку своих разговоров с Христом.

долг, достоинство, вера в лучшее будущее и т. п. Связка, в которой ни одна ценность не была всемогущей, а все поддерживали друг друга и ограничивали друг друга. Эта связка слабела, слабела и наконец совсем распалась, как веник на отдельные прутьи. И люди стали хвататься за отдельные прутьи. А каждый прут по-отдельности легко сломать. Взамен распавшейся советской связки нам широко раскрылся Запад. Но там медленно развивался другой кризис, частью которого (острой формой болезни) был и наш российский кризис. Право на поиски счастья было официально записано в текстах американской революции, более 200 лет тому назад. Но в этих текстах была записана и воля Божья. Для американских протестантов это не было простой фразой. Бог велел Адаму в поте лица своего зарабатывать хлеб свой, а Еве в муках рожать детей. Никаких контрацептивов, никакого вольного секса. Право на счастье означало право на свой участок земли, на свой малый бизнес, на выбор подружки по своей воле, но при общей вере в Бога и при общем понимании семейных обязанностей. Идея счастья в этих условиях вдохновляла на труд и помогла создать гигантскую промышленную державу.

Потом общество производителей, шаг за шагом, превратилось в общество потребителей. Труд перестал быть радостью, радость переместилась в досуг. И из связки ценностей выпал, стал самостоятельным прут счастья, и счастье стало мыслиться как непрерывное наслаждение, как сладкая жизнь.

Известно, что при продолжительной жаре белые грибы становятся ядовитыми. Так произошло с идеей счастья – и с другими идеями. Всякая идея, ставшая идеологией, подмявшая под себя другие идеи, становится отравой. Например, идея справедливости. Из нее логически вытекает террор против несправедливых, оставшихся безнаказанными, и против всего несправедливого порядка. Благородная Вера Засулич стреляет в генерала; а дальше пошло-поехало: верующие ирландские католики взрывают девочек-школьниц в Тауэре. Верующие мусульмане взрывают автобусы с женщинами и детьми в Израиле...

Значит ли это, что справедливость сама по себе перестала быть добродетелью? Нет, не перестала! Но надо быть с ней осторожным. Иначе она легко становится, по словам Волошина, «самой кровавой из добродетелей», всякая добродетель, всякая ценность хороша только в связке с другими и до тех пор, пока она не стала самодержавной идеей, *idée fixe*.

Писатели с грустью вспоминают «счастливую невозвратную пору детства», когда счастье вспыхивало от самого ничтожного повода и без всякого повода. Потом рассудок загоняет воображение в угол, и от огромного материка счастья остаются только островки. «Три счастья знаю я в этой ахинеи, – пишет современная поэтесса Людмила Чумакина, – три осознанных счастья: первое – выздоровление на подушке, когда в трех метрах от лица блестят корешки книг, и обманная струйка силы пробивается через тромбы и ленивую кровь в вялых сосудах, обманом возбуждая радость жить и знание как жить – обманное также. Второе счастье, конечно, самое совершенное – любить, но так... бесконечно, как только оборвалось в любви, только пригрезилось... Третье счастье у меня самое сложное, вернее сложенное из трех ощущений: слушание безлюдного моря, степи, дерев – это как встреча с Богом – не видишь, а узнаешь... Три моих счастья. Я их не путаю с радостью и довольством. И никому не советую путать».

Счастье всегда – остров. В тяжелые дни, когда чувства счастья нет, ребенок плачет, а у взрослого действует воля, действует долг. (Перед собой, перед другими, перед Богом.) Писатель Анатолий Бахтырев говорил, что не может «жить в плохом настроении». Он искал «искусственных стимуляторов» счастья и умер тридцати девяти лет от алкоголизма⁵. Но иногда человек, совершенно потерявший, способность к счастью, вдруг обретает ее заново. Жюльен Сорель счастлив перед казнью. Пьер Безухов счастлив в плену. Можно выучиться

⁵ Об А. Бахтыреве в моей книге «Сны земли» (М., 2004).

тому, что дает счастье: работе любви и созерцанию красоты. Можно увидеть образ и подобие Бога в человеке и десятки лет испытывать счастье бесконечной нежности от простого прикосновения друг к другу...

Из островов счастья, указанных Чумакиной, первый – только миг перехода. О нем хорошо писал и Анатолий Бахтырев: «Улица, весна, иду танцующей походкой. И беречь эти первые минуты, откуда бы ни возвращался. Из больницы, из карцера, из эвакуации в Москву, из тюрьмы в Ленинград, в деревню и даже утром из отделения милиции». Миг перехода немного похож на «высший миг» Фауста, на счастье первопроходца, ученого, на счастье нелегко давшегося открытия. Но нечаянное счастье перехода – даром брошенная милость. Она не заслужена, не связана с волей к пути, на котором откроются новые острова счастья. Вспышка, а за ней провал.

Архипелаг счастья сам собой не дается. От острова к острову нужно плыть и плыть. И ересь не в желании счастья, а в желании счастья дарового и вдобавок подаренного каждый час заново. Это ересь не новая, она возникла и стала философией еще в древности, при распаде архаической эллинской культуры, и тогда же получила имя гедонизма.

В архаическую пору все было связано, счастлив был человек, ставший героем своего полиса. И когда Крез спросил Солона, кто самый счастливый человек на свете, Солон назвал имена юношей, павших в бою за отечество. Потом человек выпал из архаического роя, стал атомом, окруженным пустотой. Эта теория возникла не из физики, а из зачаточной тогдашней социологии, и была только опрокинута на физический мир, с переносом порядка человеческого бытия на порядок космоса. Из атомизма Левкиппа, Демокрита и Эпикура логически вытекал гедонизм. Если человек – изолированный атом, если нет ничего высшего, то о чем же думать, кроме наслаждений? То, что Демокрит назван смеющимся философом, уже содержит в себе зерно гедонизма. Из этого зерна выросло учение Эпикура, перенесшего акцент с натурфилософии на этику и создавшего гедонизм как разработанную теорию.

Теория гедонизма, как все греческое умозрение, не была вульгарной. Эпикур прекрасно понимал, что чувственные наслаждения ведут к страданиям, и советовал избегать таких наслаждений и находить удовольствие в созерцании красоты, в беседах с друзьями и великодушии: ибо приятнее давать, чем получать. Но вне узкого круга философов эпикурейство приобретало довольно мрачные формы. Можно судить о них по образу Клеопатры в «Египетских ночах» или по исторически достоверному образу Нерона, декламировавшего стихи о пожаре Трои, глядя на Рим, подожженный по его приказу.

Учителем Нерона был стоик Сенека. Он пытался передать своему питомцу другой вариант этики, связанный с другим вариантом физики. Человек, осознавший себя мерой всех вещей, не обязательно становился атомистом и эпикурейцем. Он мог чувствовать космос как целое и мысленно предстоять космосу (хотя и немому). Идеалом стоика была невозмутимость. По преданию, хозяин пытался испытать стоика Эпиктета (оказавшегося рабом) и стал ломать ему руку. «Ты сломаешь мне руку», – сказал Эпиктет, не повышая голоса. Тот не прекращал свой жестокий эксперимент. «Ну вот ты и сломал ее», – продолжил философ. Однако стоицизм вовсе не был философией рабов. Рабам редко удавалось философствовать. Философствовали свободные люди. Гедонизм и стоицизм – две философии, боровшиеся за душу человека, потерявшего опору в мифе. Но стоицизм с трудом поддавался вульгаризации, он слишком решительно противился грубым страстям. Нерон казнил своего учителя.

Стоицизм и гедонизм искушали и мою юность. То и другое пришло в стихах русских поэтов. Меня глубоко волновали «Два голоса» Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине.

Под вами могилы – молчат и оне.

Пусть в горном Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы. Для них есть конец.

Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пусть олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Героический пессимизм Тютчева хорошо ладился с диалектическим материализмом Энгельса: «Вселенная порождает свой высший цвет, мыслящий дух, в одном месте – так же неизбежно, как уничтожает его в другом». Безликая вселенная нашла у Тютчева свое лицо, перед которым я предстоял со своим трагическим чувством бытия, – лицо сфинкса:

Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что может случиться, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Не было загадки, а лицо было, и было отношение Я (сей мыслящий тростник) и Ты (сфинкс). Впрочем, в иные минуты мне близок был и Эпикур – в стоическом понимании Баратынского:

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле

Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.
Мы все блаженствуем равно,
Мы все блаженствуем различно;

Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Спор Эпикура с Эпиктетом возрождается во все эпохи неверия. Он идет и сегодня, массовая культура тяготеет к грубому эпикурейству, творческое меньшинство (лишенное веры!) – к стоицизму. Александра Мелихова можно назвать современным стоиком. Он при-

нимает современную массовую культуру стоически, как отвратительную неизбежность, и с этой шаткой позиции пытается удержать ее от саморазрушения, убедить в красоте безнадежной борьбы с роком. Его филиппики против идеи счастья сложились независимо от Искандера; но бросаются в глаза общие черты: «Возьмем, к примеру, наркоманию не только опаснейшую, но, на первый взгляд, и абсолютно нелепую, «противоестественную» социальную язву: человек обменивает неисчерпаемое богатство реального мира на кратковременный иллюзорный «кайф», с катастрофически высокой вероятностью приводящий его к мучительной гибели. Однако этот обмен не так уж и нелеп для того, кому во внешнем мире все абсолютно безразлично, а потому неинтересно, кому сильные эмоции дает лишь самоуслаждение. Скажем, любовь издавна считалась кайфом очень серьезным, но – если каждое дело, каждый дар внешнему миру для тебя чистая обуза, то и любовь быстро окажется тебе не по карману. Это же сколько хлопот (с риском унижительного поражения), чтобы завоевать свой «предмет», да и победа тут же навлекает на тебя новую мороку: ты должен сделаться защитником, кормильцем... Не проще ли оставить от любви одну лишь приятную сторону – секс? Но ведь и секс требует чем-то поступаться, хоть на полчаса ублажить и партнера, – спокойнее перейти к мастурбации, чтоб уж совсем никому ничего не давать, совсем ни от кого ни в чем не зависеть. Однако и мастурбация требует каких-то усилий, какой-то специфической готовности – ну, так сделаем укол, и будем иметь все сразу и без хлопот.

Позволю себе рискованную гипотезу: наркомания есть закономерный итог мастурбационных тенденций европейской культуры. Выражаясь осторожнее, я вижу некую преемственную связь между многовековым и столь плодотворным дрейфом литературы от эпоса к лирике и стремительным скольжением личности от эгоцентризма к героину. В былые времена боевую песнь слагали и пели не для того, чтобы воодушевиться и разойтись – её пели, чтобы воевать. Вольнолюбивой поэзией упивались, чтобы бунтовать, а любовной, чтобы любить. И когда искусство провозгласило себя собственной высшей целью, не начались ли в нем процессы, родственные тем, которые происходят с отвернувшимся от мира человеком? Может быть, ничто не должно служить целью самому себе – ни человек, ни народ, ни ведомство, ни культура? Может быть, не случайно в искусстве так часто становился королем тот, кто соглашался быть всего лишь слугой?»

Мне хочется подчеркнуть совпадение двух свидетельств, двух диагнозов: Искандера и Мелихова. Что-то накапливалось, накапливалось – и вдруг стало очевидным. Дело не только в наркомании. И не в доступности химического рая, сравнительно с сексом. Доставать шприцы и все прочее – тоже хлопотливое дело, примитивный секс иногда обходится дешевле, отдельный атом-индивид может выбирать и водочку. Страшен весь клубок дешевых наслаждений. Но наркомания, вместе со СПИДом, многократно ускорила процесс распада культуры. Если западная цивилизация не встряхнется, не найдет сил для возрождения, – Китай, расстреливая торговцев наркотиками, без боя выиграет четвертую мировую войну. Черную работу проделает Черная Смерть. Страны христианской цивилизации опустеют, как некогда Западная Римская империя, и мирно (или почти мирно) будут присоединены к Поднебесной. Которая одним махом покончит и с экологическим кризисом, и с взрывным ростом населения, и с правами человека, и со СПИДом. Единственная альтернатива искушениям призрачного счастья – путь, на котором мы встречаемся с подлинным счастьем. Я этот путь испытал. Трудность – в том, как передать свой опыт. Как передать свое чувство иерархии, свое понимание Себя как многослойного начала? Где на величайшей глубине действует Божья воля, поближе к поверхности – творческая воля и только да самой поверхности – воля к простым радостям. Которые тоже не дурны, если знают свое место.

Слово «счастье» имеет множество оттенков. Фауст, опьяненный молодостью, видит свое счастье в Гретхен – а потом не знает, что делать с бедной девочкой. Фауст зрелых лет ищет счастья в классическом искусстве, старик – в осушении болот. Но есть глубин-

ный смысл, заложенный в самом слове «счастье»: со-частье, собор всех частей, целостность бытия. В противоположность участи, у-части, затиснутости в какую-то часть жизни, как в каземат. Счастье – чувство целостности, полноты бытия. Оно не может быть ровным, оно зависит от очень многих обстоятельств, оно ускользает, как солнце за тучами, а потом снова сверкает. Но оно не ложь, не обман. Ложь и обман – только в подростковых представлениях о счастье. От *этих представлений* отказывался Пушкин, когда писал:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

Я думаю, что творческий труд Пушкина сам по себе давал часы счастья. С оттенком еще какого-то особого чувства, незнакомого юности: верности чему-то высшему по ту сторону счастья и несчастья. Об этом писал и Блок:

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел – тогда
Ты, наконец, поверишь чуду,
И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не нужно было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило,
Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь, —
И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!

Рассеялся призрак дороги, усыпанной цветами, в розовом облаке наслаждений. Вместо него – «короткий миг и тесный», не многого стоящий. Но чаша творческого восторга, перелившаяся через край, но творческое состояние – это, по-моему, другое имя полноты жизни, полноты бытия, то есть счастья в самом глубоком и истинном смысле слова. Самое общее во всех случаях счастья, которое я пережил, – это, кажется, творческое состояние. Оно впервые пришло ко мне лет в двадцать, за курсовой работой о Достоевском. Оно, по-моему, приходило и на фронте как чувство полета над страхом. По большей части, поразительная ясность мысли, связанная с чувством такого полета, не находила себе внешнего выражения, но один раз я несколько часов руководил боем и делал это толково, хотя совершенно не учился тактике. Я думаю, можно назвать творческим состоянием и любовь, «работу любви»⁶, создание музыки человеческих отношений. Без вдохновения, без творческого состояния музыка любви так же не напишется и не исполнится, как симфония.

Есть, однако, еще нечто высшее, чем творческое состояние. Святой Силуан говорит в своих записках: «Я пишу, потому что со мной благодать. Но если бы благодать была большей,

⁶ См. одноименное эссе в наст. издании.

я бы писать не мог». Эту благодать, при которой ничего не напишешь, Серафим Саровский назвал «стяжанием Святого Духа», суфии называли словом «шатх». Есть легенда о суфии, к которому Бог обратился со словами: «Проси у меня всего, что хочешь!» Суфий ответил: «Мне ничего не надо, мне довольно того, что Ты есть». В сверхтворческом состоянии нет никакого стремления, никакого усилия, ничто не творится, – но преобразается душа самого творца. Это не его творчество. Он здесь глина в чьих-то руках... Я думаю, слово «счастье» неприменимо к таким состояниям; скорее – блаженство. А может быть (беру слова у Кришнамурти), «безымянное переживание». То, что можно прочесть в глазах рублевского Спаса.

На уровне безымянного переживания человек уже не ищет счастья. У него есть нечто большее. Я, впрочем, об этом только догадываюсь, судя по некоторым текстам. Но я уверен, что химия этого безымянного переживания не дает; хотя экстаз или нечто вроде экстаза может дать. Некоторые племенные и восточные культы пользуются архаической химией, чтобы дать экстатическое перенимание религиозных символов. Будда отверг этот путь (существовавший и в его дни). Он, видимо, считал химический экстаз чем-то иным, сравнительно с просветлением; а также не считал экстаз необходимым для каждого и за любую цену; и наверное предвидел неизбежные злоупотребления опасным средством. Оценка архаических техник экстаза в архаических обществах – дело науки. Ритуальные напитки могли иногда применяться веками без пагубных последствий. Но эти примеры из прошлого не оправдывают своевольные эксперименты с наркотиками в современном обществе, где нет никакой иерархической дисциплины и каждый сам себе хозяин.

Об экстазе трудно говорить. Есть несколько форм его – с видениями, созерцанием нестерпимо яркого внутреннего света и созерцанием природы, даже городской улицы, но подсвеченных изнутри. Есть различие степеней глубины – от самой большой, преобразующей человека и сразу дающей новое направление его жизни, до случайной вспышки, оставляющей только тоску по новым вспышкам (Кришнамурти считал эту тоску соблазном). Очень многое зависит от строя души, испытавшей экстаз, и строя культуры, с которой душа связана. Экстаз дает толчок, но как бы по разным рельсам. Экстаз в часы любви углубляет любовь, в часы молитвы и медитации – углубляет молитву и медитацию. Экстаз открывает христианину лик Христа, а индуисту – богиню Кали. Вне культа, вне любви, вне созерцания природы экстаз – своего рода мастурбация, разрушение божественной связи вещей своевольным поиском удовольствий. Это соблазн. И чем больше дьявол дает, тем больше он возьмет. Героин дает больше водочки, и плата за химический экстаз взимается быстрее...

– Ну и что же? – возразит мне умный наркоман, герой повести А. Саломатова «Синдром Кандинского». – «Неисчерпаемое богатство реального мира!» – Где Мелихов его взял? Чем его «Роман с простатитом» лучше моего романа с дьяволом? Разве что длиннее... Все в этом мире иллюзия. И дьявол – иллюзия, и Бог. И то, что называют реальностью, – тоже иллюзия, сон. Долгий, скучный сон, тяготица, от которой хоть в воду броситься...

Атом, окруженный пустотой, сделал свой выбор. И ему решительно нечего возразить. Человек перестал себя чувствовать рабом Божьим, рабом Долга, и не научился чувствовать себя сыном Божьим, воплощением воли Целого в дробном мире. Нет у него ни чувства иерархии желаний, ни чувства задачи, голоса сократовского Демона. Все, что я могу сказать, для него не имеет смысла. И все-таки я повторяю: счастье – дар Божий на Пути. Путь задается изнутри, из глубины, стремление к которой поддерживается культурой. На глубине, в одной связке – и нравственная воля (долг), и чувство собственного достоинства, и воля к любви со всеми ее трудами, и воля к жертве во имя высшего.

Желание счастья, улыбки счастья на Пути, подсказанном из глубины, не было разрушительным. Оно стало разрушением общества и саморазрушением, когда распалась «ценностей незыблемая скала» и массу захватил «гедонистический реализм» телевизионного экрана, поток видеонаркотиков (об этом, хорошо говорил Эрнст Неизвестный на своем

выступлении в Ко, Швейцария, летом 1997 г.). Убивает счастье, ставшее синонимом сладкой жизни. Эту, новую реальность, реальность ночных телепередач, почувствовал Искандер, почувствовал Мелихов. Все, что они говорят о счастье, не имеет никакого отношения к полноте жизни, к творческому состоянию, к радости от *преображения желаний*, когда вместо задуманной цели вдруг достигается Божья цель.

Мелихов ошибается, считая источником зла сосредоточенность на внутреннем, на переживании – в ущерб делу. В анализе причин катастрофы он так же неточен, как Искандер. Упор на внутреннем, в ущерб внешнему, не обязательно создает сибарита. Тот же упор у аскета. Но внутренняя жизнь аскета *воспитывает* волю, а не разрушает ее. Так это в любом вероисповедании, в том числе – в православном «умном делании» (то есть в делании, внешне не выявленном, остающемся в уме). Умное делание выводит на снежные вершины духа, где сам вопрос о счастье исчезает, уступает место другому: о богооставленности и благодати. Место счастья – пониже, где «рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени». И еще ниже, где «люди гнездятся в горах», в трущобах больших городов возник призрак сладкой жизни. Беда не в избытке, а в недостатке подлинной, иерархически выстроенной внутренней жизни. Если нет иерархии, если все вынесено на плоскость, различие между деятельной жизнью Мелихова и саморазрушением наркомана сводится к произвольному выбору: ты любишь химию, я люблю яблоки.

Новое время началось с бунта против средневековой аскезы во имя земного счастья. Но оказалось, что без прицела «выше счастья» подлинное счастье сползает к счастью призрачному, к сладкой жизни. Мы вынуждены заново открыть, что созерцание, медитация, молитва – накопление творческой силы, накопление творческого состояния, полноты жизни. Как бы ни достигать этого – физически карабкаясь в гору, откуда открывается красота мира, или внутренним карабканьем. Молитва и медитация – такое внутреннее карабканье, подъем на внутреннюю высоту, с которой дробный мир схватывается одним божественным узлом. Подлинное счастье неотделимо ото всего этого, от возвращения к цельности.

Нельзя удержаться на уровне, где встречаются острова счастья, оазисы счастья, без стремления выше счастья, без внутреннего усилия вверх по шкале ценностей.

Счастье – итог пути, который каждый должен пройти в одиночку. Даже счастье любви невозможно без одиноко накопленного чувства тайны. Рильке писал Цветаевой: «Боги обманно влекут нас к полу другому, как две половинки в единство. Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолуния». Это дорастанье можно продолжить вместе, но начинать – непременно самому.

Счастье творчества – в самом творчестве, даже без признания, без успеха. Счастье любви – в самой любви, даже без взаимности, способность к этому – часть той тайны, которой обмениваются любящие.

Счастье любви, счастье творчества, победы над препятствиями – не кайф, а путь, сквозь боль и труд, как счастье матери.

Счастье – соединение внутреннего огня с топливом. Слабый огонь гаснет без сухих щепок. Сильный огонь схватывает и сырые бревна.

Счастье грозит исчезнуть каждый день, и каждый день за него надо бороться. Две или три повести Грина кончаются словами: они были счастливы и умерли в один день. Это редко случается в жизни. Невозможно уберечь счастье от ударов судьбы. Что делать, если Эвридику укусила змея? Из самого счастливого Орфей становится самым несчастным. Он идет в подземное царство, но Эвридику оттуда не вывести.

Когда на то нет Божьего согласия,
Как ни страдай она любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,

Но может выстрадать себя...

(Ф. Тютчев)

Орфей выносит из Аида новое, более глубокое понимание жизни, полноты жизни, полноты счастья – сквозь смерть. Орфей выносит из Аида внутренний огонь не мыслимой прежде силы, зрелая душа на все отвечает любовью.

Одного хасидского юродивого спросили: как это можно – принимать горькое как сладкое? Юродивый ответил: я не встречал в жизни ничего горького. Спрашивающие остолбенели. Они видели больного нищего старика (его звали – Зусей), но он был счастлив.

Я запомнил лицо женщины, которую показали по телевидению на одну минуту (шел опрос публики, как она справляется с инфляцией), женщина ответила: «Я молюсь, и мне хорошо». Ее лицо сказала мне, что она не лжет. Ей было хорошо.

Есть тайный смысл в поговорке: «дуракам счастье». В Евангелии некоторых дураков называли нищими духом. Блаженны те, которые опустошили себя перед Богом и Бог наполнил их.

Что значит счастье? Счастье – это
«Не я». – Исчезновение «я».
Совсем чиста душа моя,
совсем порожняя посуда,
в которую втекает чудо
из половодья бытия.
«Не я, не я», а только это
живое половодье света,
наплыв проточного огня.
Есть только он, и нет меня!
Вопросы? Но к чему вопросы,
когда костер души разбросан
по всем мирам, и угольки
его то здесь, то в поднебесьи, —
то звездной россыпью, то смесью
лесов весенних и реки!..
О, этот ветер меж мирами,
раздувший маленькое пламя
души за страны, за края!
Великий ветер благодатный —
мой дух... Так этот необъятный
И вездесущий – это я?!

(З. Миркина)

Если не будем как дети – не войдем в Царство. Но современная цивилизация не может допустить детей к атомному реактору. У пульта может стоять только человек, доверху нагруженный инструктивным знанием: что, как, когда сделать. Это инструктивное знание разрушает знание Целого – совершенно так, как Смешной человек разрушил счастье своей планеты. Перегруженный инструкциями, потерявший за ними самого себя, человек ищет инструкций счастья, быстро действующих таблеток счастья (телевизор, секс, алкоголь, героин). Увлечись таблетками, увлечись идеей кайфа, он погибает. Наше спасение – в глубине, где вовсе не каждый миг высший.

На этой глубине человек, отбросив иллюзии, остается один на один с проклятыми вопросами, со страданием и смертью. Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее.

Счастье – это не суррогат жизни. Это сама жизнь, открытая глубине, со всеми ее бедами, но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый в глубине, не страшует нас от несчастий, но он дает силу переносить несчастия и, потеряв все, начинать жизнь заново.

Продолжая путь, мы опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на свет и обрадуемся свету и эту радость будем нести сквозь тьму – до следующего взрыва света.

Авторитет любви

Мы живем среди обломков авторитетов. Сперва это показалось свободой. Теперь приходит понимание, что свобода неотделима от системы ценностей, от известного порядка подчинения низших ценностей высшим. То есть от иерархии. Но где найти иерархию, которая не исключает свободы?

Присматриваюсь к статьям, которые затрагивают роковой клубок вопросов: семья, школа, религия, культура, формирование личности, судьба России... Две статьи сцепились в моем сознании и подтолкнули писать этот отклик. Первая – статья С. Аверинцева о его опыте семьи, в двух июньских номерах «Русской мысли» (№ 4131, 4132), вторая – статья Владимира Ошеров «В нравственном тупике» («Новый мир», 1996, № 9). Аверинцев сразу захватывает исповедальным тоном и не теряет его до конца, даже когда исповедь постепенно становится проповедью. Переход от исповеди к проповеди здесь не прием, не риторическая фигура. Так сложилась жизнь человека, очень необычная для его поколения. Сын старого интеллигента, к счастью не расстрелянного и прожившего достаточно долго, Сережа в семь лет получил в руки Евангелие и рос в микроклимате, защищавшем его от советской власти. Совершилась прямая передача традиций веховской интеллигенции в советское пространство. Библейские цитаты вписываются в статью Сергея Сергеевича не из его обширной начинанности, а из сердца, из собственной глубины, в которую все это вошло задолго до начала его сознательной творческой жизни. С ним невозможно и просто не хочется спорить. Разве только дополнить. Ибо «нельзя на одном языке описать никакое сложное явление» (Нильс Бор. Цитирую по статье Никиты Моисеева, «Литгазета», 1996, № 37).

То, что я пишу, – дополнение к эссе Аверинцева, бесспорного как опыт его жизни и его прочтения Библии. А спор – с Владимиром Ошеровым. Слишком мало в его статье опыта и слишком много принципов. Принципы, как говорят в народе, – глупая вещь. Ошеров прав, показывая глупость либеральных принципов, вдохновивших американские реформы законодательства о семье и школе. Но он не видит глупости консервативных принципов.

Он так же охвачен иллюзией законотворчества, как его противники. И я надеюсь это показать; но прежде мое дополнение к опыту Аверинцева. У него ничего не сказано о первой ступени любви, до семьи. Не только не сказано, а сознательно отброшено как что-то романтическое, субъективное, не нужное, если возродится жизнь в Церкви. Нет ничего о встрече, об узнавании, об открытии, что с этим человеком хочется прожить до самой смерти.

Я не сомневаюсь, что при глубокой вере новобрачных само таинство венчания становится своего рода встречей, и чувство единой плоти приходит само собой; меня трогает признание Аверинцева, что к нему оно пришло после 25 лет брака. Но я не могу смотреть на этот случай как на обязательный, обязывающий. В сердцевине жизни – в том, что называют частной жизнью, – нет никаких общих правил. Одни исключения, над которыми царит дух любви. Или дух отчуждения и ненависти, если любви нет. И мир героинь Петрушевской, которым бесполезно проповедовать Евангелие.

К числу библейских цитат, припомнившихся Аверинцеву, хочется прибавить еще одну. Ужасно несовременную. Современны церковность или секс. Одно вместо другого или одно пополам с другим, но только эти два. А я вспоминаю ни то и ни другое: «Ибо сильна, как смерть, любовь...» И древние книжники не ошиблись, включив «Песнь Песней» в Писание вместе с другими книгами мудрости. Хотя в страстной любви есть и свои опасности, и благочестивый страх перед нею можно понять так же, впрочем, как страх ко всему мирскому, от которого одно спасение – монастырь.

Между обещанием полета в небо, которое влюбленные читают в глазах друг друга, и действительной полнотой бытия, свивающего вместе небесное с земным, есть множество пропастей. Не только «стрелы огненные» ревности. Самое большое препятствие на пути любви, когда не остается никаких препятствий. По моему опыту, за счастье в браке надо цепляться зубами, когда руки и ноги уже потеряли опору. Я писал об этом в эссе «Исповедь Ставрогина и „Крейцеровой сонаты“» и еще раз в «Записках гадкого утенка». Вряд ли мне теперь, на старости, удастся пересказать это лучше, чем по сравнительно свежим следам. Но три человека, не сговариваясь, попросили меня это сделать, и я почувствовал себя обязанным перед читателями. Прошу прощения у тех, кто хорошо помнит мои опыты 70-х и начала 80-х годов, и повторю самое важное. Прежде всего из книги «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990): «Позднышев подчеркивает роль своих привычек, приобретенных в публичном доме. Однако тема „Крейцеровой сонаты“ древнее публичного дома. Она есть уже в мифе о зубастом влагалище. В шиваитской интерпретации мифа демон чувственности, Ади, рождается от брачных игр Шивы и Парвати. Подобно шаману, он может менять обличье и пол. Приняв облик Парвати, Ади хочет извести Шиву, но он разгадывает план демона. Молния Шивы проскакивает сквозь сомкнувшиеся зубы и убивает чудовище. После этого Парвати возвращается и семейное счастье божественной четы восстановлено.

Текст шиваитской пураны не похож на «Крейцерову сонату», но за обоими стоит, мне кажется, одно: синдром молодых супругов... Чувственность, раскованная браком, профанирует и разрушает любовь, отымает у любви ее святыню и сохраняет только привычную близость двух товарищей по постели. Без сдержанности, хранящей место для тонких и тихих движений сердца, связывающих человека с человеком, любовь гибнет, облако нежности рассеивается.

У героев «Крейцеровой сонаты» нет ни викторианской чопорности, ни поэтической меры. И ограничением становятся ссоры. Перестав разговаривать друг с другом, супруги отдыхают, потом (снова почувствовав желание) мирятся... За проблемой пола выступает еще одна: проблема эгоизма. Ни Позднышев, ни его жена не умеют взглянуть на конфликт глазами другого, перешагнуть через замкнутость на себе. Близость не сблизила их... Им не удалось восстановить в браке то чувство родного прикосновения, которое было у ребенка с матерью и должно заново сложиться у супругов (как сказано в Книге Бытия: «Да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей»), А без этого родного прикосновения, без общей души семьи – оболочка семейной жизни тягостна и враги человеку домашние его.

История семьи Позднышевых – это воронка нарастающей враждебности, углубляющейся трещины брачной жизни. Половая энергия женщины резко меняется в зависимости от ее плодовитости. Когда Позднышева носит, кормит, не спит ночей с больным ребенком, роль любовницы ей часто неважно, и ее перенапряженная нервная система становится источником истерических взрывов. Но в другие периоды устает муж. Прямо это нигде не сказано, но жалобы Позднышева иногда напоминают Агура, сына Иакиева, слова которого включены в Книгу Притч царя Соломона (гл. 30, стихи 15 и 16): «У ненасытимости две дочери: “Давай, давай!” Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: “Довольно!” Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: “Довольно!”...»

Пока Позднышевы молоды и плодовиты, периоды мужского перенапряжения уравниваются циклами беременности, родов, кормления. Но потом жена перестает рожать, а муж стареет. Позднышев чувствует облако желания, которым окружена его жена, им же разбуженная, выведенная из равновесия девственности и оставленная без любви. Он смутно угадывает, что ей нужно что-то вроде музыки прикосновения, а не только привычные чувственные отношения, и в то же время сводит дело к порочному капризу и к красным губам Трухачевского. Он, не сознавая, знает, что не было у него никогда отношения к своей страстной силе как к материалу, из которого должна быть создана духовная мелодия, – и с ненавистью угадывает в музыке то, чего ему не хватало».

Критическую часть моего анализа подтвердила на современном материале Татьяна Клименкова в ее интервью, опубликованном «Общей газетой» (1996, № 43): «Культивирование идеала мужчины в образе „гиганта большого секса“... ведет к „чрезвычайной невротизации людей». Мужчину можно только пожалеть. Маскулинная культура создала такой образ эталонного мужчины, соответствовать которому весьма трудно. Он должен быть сильным, он должен быть добытчиком, он должен быть агрессивным. А каково требование: „Делайте это триста раз в году!“?... (цитата из «популярной молодежной газеты». – Г.П.) Это же какой должен быть гигант, чтобы совершить столько подвигов за 365 дней! Не по этой ли причине невиданное распространение получили мужские неврозы, импотенция, короткая и все укорачивающаяся жизнь – зашифрованная мольба о пощаде существа, которое вот-вот ухнет под непосильной ношей».

«Мы наблюдаем все признаки крушения патриархальной культуры. Она держится из последних сил, на чрезвычайной невротизации людей». Я склонен согласиться с г-жой Клименковой, что нынешний нравственный кризис имеет очень глубокие, древние корни. Продолжу из того же моего эссе, с постоянным акцентом не на сам кризис, а на *выход из кризиса*. «Аскетическое христианство Средних веков вознесло материнство и принизило любовь мужчины и женщины. Но если говорить о возможностях извращения, то они есть и в материнской любви. Мать может любить слепо, безнравственно, любить убийцу, насильника, негодяя. Во встрече мужчины и женщины больше возможностей духовного выбора. Половая любовь может быть порочной... но она может быть и чистой, непорочной, святой, может быть созерцанием вечного света в другом, как в иконе, прикосновением к нему как причастию. Известный немецкий историк Ранке говорил, что все эпохи находятся в самостоятельном отношении к Богу. Так и здесь. Близость мужчины и женщины и любовь к детям – две сферы, каждая из которых находится в самостоятельном отношении к Богу. Владимир Соловьев, споря с Трубецким о смысле любви, толкует христианство лучше, чем Лев Толстой»⁷.

В «Снах земли» и в «Записках гадкого утенка» я пишу о том же своем опыте, просвечивающем через анализ текстов, в открытую, от первого лица. Я признавался, что подниматься под визгом снарядов, разрывавших людей на части, мне было много легче, чем сказать любимой женщине: не делай тихого знака, что ты хочешь сейчас всего... Продолжая любить Иру Муравьеву, я хотел, чтоб и она чувствовала это в каждом прикосновении, я хотел такой близости, о которой писал Шелли (в моем переводе: «Если жизнь нас разлучит, мы встретимся в смерти, соединив наши последние вздохи»). И я стал думать, как использовать свою умеренную страстную силу не на манер дурака, орущего на площади, а как флейтист, у которого дыхание становится музыкой.

Несколько лет спустя – уже после смерти Иры – приятель со смехом рассказывал мне о письме Шопена Жорж Санд: дескать, в ноктюрне он передал музыку только что проведенной с ней ночи. Приятелю это казалось странным до смешного: музыка и это! Я подумал: «Ну и дурак же ты!».

⁷ Трубецкой считал, что смысл брака – потомство. Соловьев возражал, что любовь имеет самостоятельную ценность.

У Ковальджи есть такие стихи: «Девочка – веточка, женщина – скрипка». Можно заменить эту метафору другой: парного танца и т. п. Но чем-то скрипка мне дорога. В ней скрыта музыка. Господство мужчины в близости очень условно: он, так же как и женщина, подчиняется инстинкту, или, так же как и женщина, исполняет свою роль под образом вечности. То есть разгадывает ту музыку, которая уже заключена в женщине, в ее душе, неотделимой от ее тела. Мужчина и женщина – глубоко другие, во всем философском смысле другого. В мужчине больше возможностей развития в разных направлениях, он больше может успеть в любой почти отдельной области, но почти всегда за счет целого, вплоть до разрушения целого. Отсюда потребность восстанавливать свою цельность, отсюда влечение к вечно женственному. Женщина настолько же превосходит мужчину в цельности, как он ее – в развитии. (Я говорю, конечно, не об отдельных людях, а о статистике.) В женщине дух неотделим от тела, любовь от материнства, ум от сердца. Китайцы нагрузили огромным метафизическим смыслом символы инь и ян, хотя в первоначальном своем смысле инь – влагилице, ян – член детородный. А в просветленном смысле – нечто вроде ипостасей Дао, Пути вселенной. Ибо дух воплощается, становится плотью, и плоть может стать причастием духу.

Этого решительно не понимал Дон Жуан и – заодно с ним – герои сексуальной революции. Либо они дураки, либо трусы. Дураки, если не понимают, что тайна женщины, как правило, не раскрывается в первую ночь, что к этой тайне надо иногда идти годами *с одной и той же женщиной*, все глубже ее разгадывая, вплоть до образа и подобия Божия, по которому мы все созданы. Либо же современный Дон Жуан – трус, испугавшийся порогов, через которые надо проплыть на пути к морю.

К счастью, традиция сохранила не только этот образ. Есть еще бессмертные пары: Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, Данте и Беатриче... И в суфийской традиции, и в традиции бхакти, и в «Божественной комедии» любовь мужчины и женщины – один из путей к небу.

И я благодарен поэзии (включая и прозу), что она показала мне возможность встречи, научила дожидаться встречи и, дождавшись, не пропустить ее. Я убежден, что всякая подлинная встреча свята, где бы она ни произошла – в церкви или в аптеке.

«Сценка в аптеке. Женщина, очень милая на вид, лет сорока от роду, одетая плохо, порабочему, что, впрочем, не умаляет ее мягкую красоту, покупает аллохол, а мужчина лет пятидесяти говорит ей, как старой знакомой: “А чтой-то вы аллохол берете? Печеночка?” – “Да, что-то, – отвечает и она так же. – Тянет что-то!” – “А ведь небось и не знаете, как его употреблять. Давайте-ка я вам расскажу все по порядку...”

И вот уже семнадцать лет рассказывает, усыновив ее мальчишку, который стал уже взрослым и сам женился. Внучка у них Анечка, и счастливые они, как если бы знали друг друга с детства. Он уже старик, да и она немолодая. Но рядом с ним просто молодка. Жизнь ее благодаря аллохолу повернулась к ней всеми своими радостями и засветилась радугой в дождистом небе. И он ей говорит иной раз в минуту расслабленности душевной: “Я как увидел тогда тебя, так понял, что мы наконец-то встретились. Ничего о тебе не знал – и в то же время все знал. Мне с тобой сразу легко стало. Боль душевная отлегла, и я успокоился. Я сразу знал, что у нас с тобой долгая жизнь впереди. Это как перед дальней поездкой: сборы, волнение, проводы на вокзале, а поезд тронулся – и есть захотелось. Ха! И усталости как не бывало. Так и мне с тобой. Все еду, еду, смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу. Ты очень разная! Все мне в тебе интересно, ей-богу, не вру. Нравится мне жить с тобой, а до тебя все не нравилось, все не по мне...”» (Семенов Георгий. Убегающий от печали. «Новый мир», 1996, № 9, с. 186. Это одна из лучших публикаций журнала.)

Тут самая главная фраза: «... смотрю в тебя, как в окошко, и насмотреться не могу». В тебя, а не на тебя. Встреча пожилых людей надежнее. Молодость часто сбивает с толку то, что французы называют «чертовской красотой». Ранние браки – это *попытки* семьи,

попытки с добрыми намерениями. Но благими намерениями вымощен ад. Что делать, если семейная жизнь стала адом? Пример – католическая семья в «Земляничной поляне» Бергмана. Аверинцев рассказывает о браке двух молодых людей, для которых духовная близость значила все и действительно стала всем, так что личный опыт естественно слился с опытом церкви. Но ранняя духовная и нравственная зрелость – не частый случай.

Мы живем не в том мире, где каждое поколение повторяет в самом главном отцов и дедов, а в потоке нового. Отцы и деды не пережили его и редко могут наставить, как пробраться сквозь перемены к вечной оси, вокруг которой вертится время. Приходится самому собирать себя – из жизненных впечатлений, из прочитанных книг, заставивших пережить чужую жизнь, как свою собственную, из волн музыки.

В 17 лет я понял, что меня еще нет, и поставил себе цель «быть самим собой»; этими словами заканчивалось сочинение на тему «Кем я хочу быть». Я собирал себя сквозь 37-й год, сквозь войну, сквозь лагерь – и пожалуй, только годам к 38 стал готов к встрече. А ведь сходятся, покоряясь влюбленности, в 18, 20 лет. Что делать, если переключка двух пар глаз, двух душ, светящихся в глазах, оборвалась?

Здесь законы сталкиваются. Я был свидетелем спора между З. и ее приятельницей, отстаивавшей католический нерасторжимый брак. Для З. любая близость без любви была *духовно и нравственно* невозможна. Католичка жила в таком браке, и ее тянуло к новым приключениям. Она уговаривала саму себя.

Я думаю, хорошо то, что помогает росту души. Плохо то, что мешает. Очень многое дает встреча с другой, подхватывающей своей внутренней жизнью. Можно ошибиться (особенно смолodu), но если догадка была верна, то действительно возникает одна общая жизнь, о которой романтически наивно говорит формула Александра Грина: «Они были счастливы и умерли в один день». К сожалению, вторая часть этой формулы – возвышенный обман, но первая – правда. И счастье разделенной любви – это тепло, от которого раскрываются все почки в душе. Хрупкое тепло, если можно так выразиться. Особенно если ему не предшествует более трудное счастье, одинокое, способность радоваться и весне, и лету, и осени, и зиме. Но именно разделенная любовь создает облако любви, в котором раскрываются сердца детей. И хотя любовь никогда не для чего-то, всегда сама по себе радость, блаженство, благодать, – каждая счастливая пара вносит в мир свое тепло. А каждая несчастная – свои комплексы, свои неврозы, свои подавленные взрывы ненависти.

В шестнадцать лет я был призван в арбитры между отцом и матерью. Отец женился в тридцать четыре года с ясным сознанием, что с этой женщиной хочет жить всю жизнь, но так и не сумел завоевать ее любовь. Мать вышла замуж 18 лет «из уважения», потом стала актрисой, вышла совершенно в другой мир, и возвращение к брачным узам стало пыткой. До формального развода она уже несколько лет играла в киевском театре, а жили мы в Москве. Я вспомнил все ссоры, шедшие непрерывной чередой, и высказался за развод. Отцу было очень больно, он терял контроль над собой и рассказал мне много лишнего. Потом примирился и вспоминал только хорошее. Из лагеря я писал свои дозволенные письма ему, а он пересылал маме. Это тот опыт, который надо прибавить к опыту Аверинцева. Не противопоставить, а просто прибавить. Неверно, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Все и счастливы, и несчастливы по-разному. И в счастье, и в несчастье есть свои стандарты и есть свои неповторимые случаи.

К несчастным семьям и несчастным школьникам повернуто внимание Ошерова. Но оно какое-то безличное. Эссе Аверинцева – голос, рядом с которым могут звучать другие голоса. Статья Ошерова – окрик: только так! Мышление Аверинцева, за исключением одного случая, который я оговорил, исходит из прямого чувства блага, из того, что есть. Мышление Ошерова чисто реактивно, оно повторяет знакомые рывки: справа налево и обратно, слева направо. Запад нашел равновесие «натиска пламенного» с «отпором суро-

вым». Ошеров по-русски хочет «натиск пламенный», либерально-социалистические веяния, изничтожить «до основания, а затем...». Статья посвящена критике американского опыта, но напечатана в «Новом мире», в пример и поучение нам, и вызывает в памяти давно знакомый выкрик Белинского: «Нет, что бы вы ни сказали, я никогда с вами не соглашусь!».

Даже запрет пользоваться розгой вызывает сердитую воркотню: «Если точно следовать букве и логике этой статьи (речь идет о ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка. – Г.П.), дети не только могут игнорировать мнение родителей по поводу содержания школьных программ и множества других вопросов, но родители не имеют права и нашлапать строптивое чад по мягкому месту!» (с. 159).

Вспоминаются прения в бундестаге по вопросу о телесных наказаниях. Социал-демократы были против, христианские демократы – за.

«Почему бы детям чуть-чуть и не бояться родителей? – пишет Ошеров. – Страх Божий всегда почитался одной из великих христианских добродетелей. В страхе самом по себе нет ничего дурного, не следует его путать с трусостью» (с. 159). Последнее верно: храбрость – не отсутствие страха, а полет над страхом. Все остальное, по-моему, путаница. Немецкий язык здесь против христианских демократов. Немец для богобоязненности употребил бы слово *Furcht*, а не *Angst*. Страх оскорбить святыню – нечто иное, чем страх порки. В Новом Завете неразличение двух страхов преодолевается: «совершенная любовь изгоняет страх». И именно любовь вызывает страх второго рода, боязнь оскорбить свою любовь даже нечаянной грубостью, нечаянным срывом.

Учить любовью, учить страхом *обидеть* труднее, чем отшлепать, но иногда все-таки удается. Меня так выучили в раннем детстве – не бросать чашки с балкона и любоваться, как они красиво разлетаются на осколки. Охотно признаю, что в мягком воспитании бывают неудачи. Но Ошеров отрицает у либералов даже добрые намерения. Он видит только мотивы корыстные и злые. «Запрет на школьную молитву – прямое и недвусмысленное проявление враждебности к религии», – пишет Ошеров (с. 175). Не хватает только масонского заговора. Между тем посещаемость американских церквей *в несколько раз* выше, чем в Европе. Трудно поверить, что все американские законодатели и судьи – воинствующие безбожники. И скорее всего мотивом запрета общей молитвы было *уважение* к религии, к религии меньшинства, вынужденного присутствовать при *чужой* молитве.

Мартин Бубер вспоминает в своих автобиографических заметках: «В 8 часов утра звонил колокольчик, входил один из учителей и поднимался на кафедру, над которой на стене возвышалось большое распятие. В ту же минуту ученики вставали со своих скамей. Учитель и польские ученики крестились; он произносил символ веры, и все они вслух молились. Мы, евреи, стояли молча и неподвижно, глядя в пол, пока не разрешалось сесть...»

Я не могу припомнить учителя, который не был бы терпим или не хотел казаться терпимым. Но ежедневное обязательное стояние в классе и слушание чужого богослужения действовало на меня хуже, чем мог бы задеть какой-либо акт нетерпимости. Это отпечаталось во всем моем существе» (The philosophy of Martin Buber. Ed. by P. A. Schlipp a M. Friedman. La Salle – L., 1967, p. 8).

Для Ошера нет неразрешимых проблем, нет вопросов, с которыми люди бьются веками, подходя к ним то так, то эдак. На все есть свой бесспорный ответ: плохо решала проблему абортс Америка, хорошо – Германия. Там «в конституции страны ясно говорится о Боге, о высшем авторитете, стоящем над всеми мирскими, человеческими – научными, политическими, социальными, экономическими – и прочими интересами. Не случайно, например, в объединенной Германии абортс были объявлены Конституционным судом *фундаментально неконституционными*. Причем за такое решение было подано подавляющее большинство голосов – шесть против двух. В своем решении суд заявил: «Женщина должна знать, что неродившийся ребенок имеет свое собственное право на жизнь». И: «К абортс

можно прибегать только в исключительных обстоятельствах». Это не значит, что аборт, сделанный в первые три месяца беременности, будут считаться преступлением. Но на них не будет распространяться государственная медицинская страховка. В итоге каждый действительно поступает согласно велению совести и несет *личную* ответственность за свои поступки» (с. 162–168).

Метафизически все концы сошлись с концами. А практически дело сводится к деньгам, к «иметь» и «не иметь». Имеешь – и тебя карает только совесть. Для менее состоятельных – огромная дыра в бюджете. А для бедных, да еще неопытных – неразрешимая проблема. А что значат «исключительные обстоятельства»? Почему восемь мужчин вправе решать, что для женщины абсолютно исключено? Я подозреваю, что все восемь судей (или по крайней мере шесть) – мужчины, и думаю, где у них совесть? Где была совесть у Леа Валенси, наложившего вето на закон сейма, разрешивший аборт?

В этом вопросе даже в книге «Папа римский Иоанн Павел II» автор ее, Елена Твердислова, позволила себе (единственный раз) свое женское возражение авторитету: «Можно, разумеется, оспорить некоторые позиции Ватикана, к примеру закон об абортах, хотя он по природе своей правомерен: должна изначально существовать ответственность за человеческую жизнь; но закон этот бессмыслен и трагичен для стран, где материнство не о б е с п е ч е н о с о ц и а л ь н о, а только при таких условиях он может разумно действовать, иначе начинаются поиски его обойти, которые, как известно, заканчиваются бедой» (*Твердислова Е. Папа римский Иоанн Павел II. М., 1995, с. 56. Разрядка моя. – Г.П.*).

Церковь вправе и обязана учить прихожанок, что аборт – крайняя, нежелательная мера. Но безнравственно пускать против женщин юридическую машину, сыщиков и полицию. Здесь нравственные импульсы сталкиваются. С одной стороны – жизнь зародыша. С другой – жизнь и здоровье женщины. В праве это называется коллизией законов: один запрещает, другой разрешает. Я думаю, что нам, мужчинам, лучше воздерживаться. Наша ответственность – в другом: позаботиться, чтобы подруге в момент близости не пришлось думать о последствиях, а потом (не подумавши вовремя) – как избежать последствий. В девяти случаях из десяти это на совести мужчины. И здесь моя совесть вступает в противоречие с Библией. Библия запрещает предупреждение беременности.

Однако почему церковь сохранила этот ветхозаветный запрет? Почему не отменила его вместе с субботой, обрезанием, покрыванием головы перед Богом? Потому что эллины и без истории Онана привыкли доводить половой акт до конца, а к обрезанию относились с отвращением, да и к другим еврейским обычаям. И Павел решил еврейскими святынями пожертвовать. Это вызвало раскол: не все ранние христиане согласились пренебречь прямым словом Христа: «Я пришел не нарушить (закон. – Г.П.), а исполнить». Иудео-христианство дожило до IV века. Но история решила спор в пользу Павла.

Мы подходим здесь вплотную к пониманию очень важной вещи: авторитет без внутреннего пространства свободы так же хрупок, нежизнеспособен, как свобода без координат авторитета. Павел был искренен, когда писал, что умер и жив в нем Христос. И я не сомневаюсь, что внутренний голос Христа разрешил пожертвовать очередной «буквой» во имя «духа». Но такие коллизии повторяются вечно. Пророки доходили до полного отрицания культа. Хотя культ был святыней и ни одна религия без этой святыни не обходится.

В Средние века тяжелый кризис вызвала заповедь «не сотвори себе кумира». Церковь учила десяти заповедям и сама с ними не считалась. Эллинам и римлянам нужен был зримый Бог. Первый шаг навстречу им был сделан уже в формуле: «Бога не видел никогда и никто. Единородный сын, сущий в недрах Отчих, – Он явил». И пока христиане оставались гонимым меньшинством, им хватало мысленного образа. У энтузиастов, готовых на казнь во имя веры, вся жизнь была сосредоточена на внутреннем образе Христа. Но все переменялось после Константина и Феодосия. Государственную религию приняли массы полуязыч-

ников. Им нужен был вполне зримый, чувственно зримый культ – с иконами и статуями. Меньшинство в любой культуре способно сжечь, чему поклонялось, и поклоняться тому, что сжигали; большинство консервативно и по-своему право. О нем говорит традиция культуры. Сталкиваясь с этнически чужой верой, культура вступает с ней в диалог, и прямой победы одного почти никогда не бывает. Церковь не отказалась от диалога с современностью V века и создала новый живой культ.

Однако были племена, чуждые греко-римской традиции чувственно-зримой святости. Таких племен немало (например, все арабы). И случилось так, что престол в Константинополе достался исаврийской династии, вышедшей из глубин Малой Азии. Опираясь на незыблемое Слово Бога, продиктованное на Синае, императоры-иконоборцы запретили почитание икон и статуй. Греки пытались бороться с запретом. Св. Максим Исповедник провел различие между кумиром (идолом) и иконой (символом Бога без прямого подобия). Однако иконоборцев он не убедил. Помог случай. Гречанка Ирина, избранная за красоту, воспользовалась ранней смертью мужа-иконоборца, ослепила сына (лишив его таким образом права на престол без смертного греха сыноубийства), короновалась в мужском роде василевсом и восстановила почитание икон. Иконоборцы, сопротивлявшиеся этому, были истреблены. Погибли около 100 000 человек. Что касается латинской церкви, то она просто выкинула «не сотвори себе кумира» из Декалога. Но ничего не помогло: протестанты, читавшие Библию в подлиннике, вернулись к авторитету Писания. И вот что любопытно: средиземноморские народы остались верны культуре зримой святости, протестантизм победил только там, где античность не оставила заметных следов. В столкновении заповеди с культурой победила культура.

Ошеров жалеет, что американским детям не преподают десять заповедей. По какому Декалогу учить? Католическому (отредактированному в Риме)? Православному (с комментариями Максима Исповедника) или протестантскому без святоотеческих разъяснений? И как быть с иудаистами, мусульманами, буддистами? Они живут в христианской, по своим основам, цивилизации, но хотят оставаться самими собой. Америка – страна религиозных меньшинств, и она первая столкнулась с этой проблемой. Но постепенно в городах всех развитых стран складывается та же обстановка. Мы живем в неслыханно тесном мире с огромными скоростями передвижений и перемен. Каждый волен избрать в авторитеты пророческий монолог одной религии, но миру в целом не избежать диалога. Современный эфир – диалог пророческих монологов, и постепенно таким же становится религиозное сознание. Государственная школа, общая школа не может вернуться к одному катехизису, просто игнорируя другие. Ей нужна книга – много книг, в которых одинаково сочувственно рассказывается обо всех великих религиях и сам материал подталкивает подростка к переживанию реальности единого Бога за всеми исторически сложившимися образами, но ни один не навязывается как безусловная реальность. Мы с Зинаидой Миркиной попытались написать такую книгу («Великие религии мира», М., 1995), она тоже вызвала недоразумения и обиды⁸. Нужны новые попытки. Жизненные потребности заставляют создавать суперэкуменическую книгу для школьников до того, как вполне сложилось экуменическое и суперэкуменическое богословие. О совершенстве здесь не может быть и речи, да оно и в идеале неосуществимо: процесс религиозного развития никогда не закончится, никогда не достигнет окончательных форм. Надо учиться жить в духовно открытом мире, находить новые духовные лекарства против новых болезней, искать пути восстановления цельности во все более сложном, все более дробном техногенном мире. Ибо суть дела в этом. Одно из имен Бога – Целое (имя, заново найденное Достоевским в «Сне смешного человека»).

⁸ Которые мы попытались учесть во 2-м издании (М., 2001).

Как противостоять лавине раздробленной и дробящей личность информации? Как противостоять силам, вытягивающим человека из его собственной глубины на поверхность, к голубому экрану?

Великие законодатели причастились Богу, познали его реальность и действовали не от себя, а «творили волю Пославшего»... Но всякое слово переносит нас из сферы абсолютной целостности в раздробленное бытие, где одна правда непременно противоречит другой. Всякое высказывание воли Божьей неполно и неточно, несет на себе отпечаток языка, времени, места, наконец – пола. Дух Божий по ту сторону всякой двойственности, но патриархи были мужчинами и считали превосходство мужчин чем-то установленным свыше. У евреев есть даже молитва: благодарю тебя, Господи, что ты не создал меня женщиной. В нынешнем нашем мире это неловко звучит.

Советский опыт сталинских лет показал необходимость заповеди «не предай». Во времена Моисея она еще не понадобилась. Но уже в I веке, в оставленную щель влез грех: на Христа донесли, что Он оскорбил величие Кесаря Тиберия. А потом умыли руки. У евреев, веками не имевших собственной власти, самый характерный образ зла – не Иван Грозный, не Малюта Скуратов, а доносчик (так и в романе Башевиса-Зингера «Раб»). Правдивый донос за грех не считался.

В Библии нет запрета употреблять наркотики. Это не значит, что Моисей и Христос наркотики разрешили. Просто им нечего было запрещать, не было в Палестине этого обычая, а в Индии он был, и Будда наркотики запретил. Жизнь религии – это процесс, в котором все время идет борьба духа со все более изощренным злом. Какие-то заповеди ветшают, какие-то возникают вновь. И понимание закона, заповеди тоже меняется. Буквальное исполнение табу, заповеди, закона уступает место нравственному творчеству, выходу из положения, в котором законы сталкиваются, противоречат друг другу (а такие положения все чаще). Идет диалог между законом и совестью (пример – суд присяжных, способный вынести приговор «не виновен» при явном и доказанном преступлении).

Идет и другой диалог: между религией в узком смысле слова и святынями, складывающимися вне этой сферы. Один из ведущих теологов нашего века, Пауль Тиллих, пишет: «Религия в самом широком и фундаментальном смысле есть предельный интерес... Он проявляется в сфере морали как безусловная серьезность моральных требований. Следовательно, если кто-либо отвергает религию во имя моральной функции человеческого духа, он отвергает религию во имя религии (далее то же повторяется о науке, об искусстве. – Г.П.)... Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью, поскольку предельная серьезность, или состояние предельной заинтересованности, и есть сама религия. Религия – это субстанция, основание и глубина духовной жизни человека.

Но тогда возникает вопрос: как быть с религией в более узком и привычном смысле слова? Если она присутствует во всех функциях духовной жизни, почему человечество развивало религию как особую сферу, в мифе, культе, поклонении, церковных институтах? Вот ответ: из-за трагического отчуждения человеческой духовной жизни от своего собственного основания и глубины. Согласно визионеру, написавшему последнюю книгу Библии (Откровение св. Иоанна Богослова. – Г.П.), не будет храма, ибо Бог будет во всем...

Религия открывает глубину духовной жизни человека, обычно скрытую пылью повседневной жизни и шумом нашего секулярного труда. Она дает нам опыт священного, того, к чему нельзя прикоснуться, что внушает благоговейный ужас, предельный смысл, источник предельного мужества. В этом слава того, что мы называем религией. Но рядом со славой мы видим ее позор. Она возвышает себя и презирует секулярную сферу. Она придает своим мифам и учениям, ритуалам и законам предельное значение и преследует тех, кто им не подчиняется (тогда как животворит дух, а не буква. – Г.П.). Она забывает, что ее собственное существование – результат трагического отчуждения человека от его истинного бытия

(отчуждения, совпавшего с самым началом цивилизации, с разрушением культуры примитивно-целостной. – Г.П.). Она забывает, что возникла в качестве выхода из чрезвычайной ситуации» (*Тиллих Пауль*. Избранное. Теология культуры. М., 1995, с. 240–241).

Либеральные реформы – попытка отделить славу религии от ее позора. Попытки, сплошь и рядом ведущие к временному торжеству атеизма. Высшая сила, которую мы называем Богом, «предшествует всякому разделению и делает возможным всякое взаимодействие, потому что она точка тождества, без которого нельзя помыслить ни разделение, ни взаимодействие. Это относится главным образом к разделению субъекта и объекта, а также к их взаимодействию как в познании, так и в действии. Prius (предшествующее. – Г.П.) субъекта и объекта (абсолютно целостное. – Г.П.) не может стать объектом, с которым теоретически и практически соотносится человек как субъект. Бог – не объект для нас как субъектов. Он всегда то, что предшествует этому разделению. Но, с другой стороны, мы говорим с Ним, мы действуем по отношению к Нему и не можем избежать этого, так как все, что становится реальным для нас, вступает в субъектно-объектную корреляцию. Из этой парадоксальной ситуации возникло наполовину богохульное мифологическое понятие „существование Бога“. И отсюда пошли бесплодные попытки доказать существование этого „объекта“. Атеизм – разумный религиозный и теологический ответ на это понятие и на подобные попытки. Это было хорошо известно наиболее глубокому благочестию во все времена. Поражает атеистическая терминология мистицизма (например, «и Бог преходит!» у Мейстера Экхарта. – Г.П.). Она ведет за пределы Бога к безусловному, трансцендируя всякую фиксацию божественного как объекта. Но мы находим то же самое ощущение неадекватности всех ограничивающих имен Бога и в немистической религии (опирающейся не столько на непосредственный опыт причастия Богу, сколько на авторитет. – Г.П.). Подлинную религию невозможно представить себе без элементов атеизма. Не случайно, что не только Сократа, но также евреев и ранних христиан преследовали как атеистов. Для приверженцев „сил“ они были атеистами» (там же, с. 253).

«В этом смысле всю историю религии можно рассматривать как борьбу за религию конкретного духа, борьбу Бога против религии («буквы» религии. – Г.П.) внутри религии. И эта формула – борьба Бога против религии внутри религии – могла бы стать ключом к пониманию чрезвычайно хаотичной (или по крайней мере кажущейся хаотичной) истории религии» (там же, с. 449).

Внутренний авторитет ведет нескончаемый разговор с внешним. Иногда они приходят в согласие (как в эссе Аверинцева), иногда решительно сталкиваются, и тогда решают внутренние «присяжные». С почтением к закону, но не забывая, что формально правы были Каиафа и Анна, а не Христос.

Открытое общество – это общество открытых вопросов. Их вызов нельзя упразднить. Надо ежедневно искать новые ответы на новые проблемы.

Бог – это любовь. Бог – это совесть, голос, который мы слышим в тишине, в молчании, в созерцании целостности природы, в созерцании иконного искусства (т. е. не только икон, но искусства иконного духа), в переживании книг, которые будят совесть, в припоминании детской и отроческой боязни оскорбить любовь. Единственный бесспорный авторитет – это авторитет любви. Этот единый и нераздельный дух любви – к родным людям, родной стране, к творческой силе, создающей родство, – надо хранить, поддерживать, как хрупкий кустик, которому угрожает много-много барашков (я продолжаю здесь тему, начатую Аверинцевым, но делаю это языком сказки Сент-Экзюпери).

Если не будет сознания важности этого, если не будет помощи в этом, никакие законы не спасут, ни либеральные, ни консервативные. И больное общество будет рождать своих могильщиков.

Истина диалога

Говорят, что истина рождается в споре. Это и так, и не так. Новый подступ к истине, веточка, брошенная в перенасыщенный раствор и сразу обрастающая кристаллами, часто падает откуда-то в тишине, в одиноком созерцании, и в споре только гранится, рассыпается на множество частных истин, как истины Евангелия в богословском диспуте. Но бывают разговоры, в которых дух истины витает над всеми репликами, и здесь действительно что-то рождается. Это и есть диалог, спор, в котором новое, рожденное сейчас, признается выше всего, рожденного ранее и вынуженного из запасов памяти.

Такие диалоги вел Сократ. Этому научился у него Платон. На старости лет он, к сожалению, увлекся логическим развитием идеи и сохранил диалог только как оболочку философской истины. Диалог не выстраивает никакой системы, не дает никаких инструкций. Он дает *чувство* истины, высшей истины, связывающей спорщиков. В этом смысл *перехода к диалогу*, провозглашенного II Ватиканским собором. В этом дух философии диалога, разработанного Бубером, Марселем, Левинасом и Бахтиным.

Наше время – одно из тех, о которых говорил Кришна в «Бхагават Гите»: «Когда падает добродетель, когда торжествует порок – тогда я воплощаюсь!» Но мессия уже приходил. И Будда уже приходил. И я не могу себе представить новых, глубже прежних. А если не лучше и не глубже, то старых нельзя просто отодвинуть, как Христос – греческих богов. Христос останется в святая святых, и Будда останется. И поклонники Будды и Христа по-прежнему будут поклоняться Будде и Христу. Возможно только дойти до глубины, в которой откроется Дух, веющий всюду, и выйдут из забвения слова Христа: «Всякому простится слово на Сына, не простится хула на Святой Дух». Хула, которой часто грешат ревнивые исповедники *своей* веры, не замечая Святого Духа в чужих одеждах.

Наше дело – идти по выбранной дороге, но не хулить чужие дороги. Они расходятся в долинах, а наверху сходятся и совершенно сливаются там, где время становится вечностью, а пространство – точкой целого. И почувствовав эту точку в груди, мы чувствуем любовь к другому, идущему другим путем, и не даем ревности и ненависти отвлечь от пути вверх.

Баха-Алла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Кришнамурти. Но когда Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, что оно противоречит духу времени. А успехи бахаизма очень невелики. Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании древних символов веры. Старые мировые религии тысячами нитей связаны с культурой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная религиозная идея, та же *идея* монотеизма без старых, но прекрасных икон, старой музыки и т. п.

Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух диалога, дух понимающей переключки вероисповеданий, дух любви, внушившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом *знакомство* с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватывающей весь мир любви к другому. Св. Силуан писал: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, – не христианин».

Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. Другим это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего вероисповедания. Александр Мень распространил среди своих духовных чад католический катехизис – чтобы знать другую ветвь вселенской церкви и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в католичество его

глубоко огорчил как свидетельство поверхностности, суетности, предпочтения одних букв другим – вместо движения от буквы к духу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.